



Анна
Малышева
Анатолий
Ковалев

АВАНТЮРИСТКА
ПОТЕРЯВШАЯ ИМЯ

ВСЕГО ОДНА ЖИЗНЬ, ЧТОБЫ ОТОМСТИТЬ

Авантюристка

Анатолий Ковалев

Потерявшая имя

«АСТ»

2010

Ковалев А.

Потерявшая имя / А. Ковалев — «АСТ»,
2010 — (Авантюристка)

Серия исторических романов, совместно созданных двумя известными писателями, адресована любителям авантюрного жанра и ценителям классической русской прозы. Помимо увлекательного сюжета, эти книги особенно интересны тем, что многие их герои являются реальными историческими фигурами, вершителями судеб России первой половины XIX века. Александр I, Николай I, Бенкендорф, московский губернатор Ростопчин – эти и другие исторические персонажи достоверно и ярко выписаны на основе писем и мемуаров современников и являются столь же активными участниками сюжета, как и вымышленные герои. Действие первого романа начинается в 1812 году в Москве, в момент вступления французской армии. Юной героине, графине Елене Мещерской, потерявшей в московском пожаре семью, состояние и положение в обществе, предстоит преодолеть многочисленные трудности и научиться противостоять жестокой судьбе...

© Ковалев А., 2010

© АСТ, 2010

Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	15
Глава третья	26
Глава четвертая	42
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Анна Малышева. Анатолий Ковалев

Авантюристка. Потерявшая имя

Глава первая

Москва загорается

С часу на час ожидали французов, последние обозы покидали Москву, а по улицам снова появились подозрительные люди, сильно смахивающие на мародеров. Из каких нор и щелей они выползли в это смутное время – неизвестно, но страха в их наглых сверкающих глазах не было. Из разверстой подворотни слышались стоны умирающих солдат. Им суждено было умереть на чужом дворе, без воды и перевязок, без защиты от врага, без последнего причастия. В их слабеющие голоса резко врвался хохот какого-то безумца, выпущенного на свободу из дома умалишенных.

В это погожее сентябрьское утро графиня Антонина Романовна Мещерская упорно искала мужа. Она почти отчаялась и все чаще прикладывала к вискам платок, смоченный одеколоном. Не помогало. Гонцы, разосланные по всей Москве, возвращались или с вестями настолько бестолковыми, что их и понять нельзя, или пьяными – повсюду были разбиты винные погреба. А то приходили вовсе без вестей. Однако надежды она не теряла. «Отчаиваться грех! – Графиня снова растерла платком ноющие виски, поправила седеющие волосы под кружевным чепцом. – Я – жена и мать! И если суждено мне будет носить траур, я надену его, только когда увижу графа мертвым. А он...» Мальчишка Шуваловых сказывал недавно, что видел Дениса Ивановича Мещерского тяжело раненным, без сознания. Будто бы везли его к Донскому монастырю. Сама графиня Шувалова отбыла в деревню еще пятого дня, не дождавись вестей об исходе Бородинского сражения. «От страху-то речей лишилась, – с презрением подумала Мещерская. – Сына даже не дождалась. Польстятся на нее французы – как же! Всегда была блажная!»

Сын Шуваловой, граф Евгений, служил при штабе Барклая и, отступая вместе с армией, уже не застал матушки в Москве, однако ж повидался с Мещерскими. Антонина Романовна угостила его, как смогла. Просила прощения за скромный стол, накрытый кое-как, всплакнула даже – ей ли, хлебосольной московской хозяйке, так принимать гостя! Вот уж времена настали – ни подать, ни принять некому... Молодой граф удивлялся, зачем Денис Иванович ушел с ополчением, когда другие в это время увозили своих домочадцев подальше от войны? «Он не верил, что Москву оставят! – в слезах оправдывала мужа Антонина Романовна. – Не желал в это верить, голубчик мой!»

Да, еще недавно многие не верили, обманутые бодрыми афишками генерал-губернатора Ростопчина, призывавшего не покидать Первопрестольной. Ведь уверяли все – и царь, и Кутузов, что Москвы не сдадут. И вот... Ох, как была права ее институтская подруга Олсуфьева! «Какая же ты легковверная, Тоня! – выговаривала она еще весной. – Охота тебе слушать этого краснобая Ростопчина! Он только людей морочит, умней Господа Бога хочет быть. Говорю тебе, уезжай, а то поздно будет, все из Москвы забирай!...» Деревня их всего в тридцати верстах от города. Отправили бы туда имущество, целее было бы... Так ведь Денис Иванович ничего слышать не хотел. «Ежели Москва не уцелеет, где уцелеть деревне! – И, обняв на прощание супругу, добавил: – Не до того теперь, матушка... Право, не до того... Оставим все, как есть, Бог поможет». Сколотил из дворовых людей небольшой отряд, на собственные деньги обмундировал и вооружил своих крепостных и отправился воевать. В глаза его называли героем, за глаза – чудаком.

Во время визита молодого Шувалова дочь Мещерской, Елена, поглядывала на гостя без смущения. Она то покусывала пухлые нежные губы, то теребила завитые локоны, то оправляла платье... Мать несколько раз взглянула на нее строже, чем обычно. Елена даже не заметила этого. Ее ясные, распахнутые на пол-лица глаза были прикованы к НЕМУ. Евгений в военной форме казался ей чужим, незнакомым, ГЕРОЕМ, призванным их спасти, а вовсе не тем мальчуганом, которого с малолетства все знакомые дразнили ее женихом. Когда два месяца назад он уезжал на войну, они впервые поцеловались. Тихо, целомудренно, при всех – в честь помолвки. Она едва почувствовала тогда прикосновение его горячих губ, голова затуманилась, сердце забилося чаще. После оба не могли поднять друг на друга глаз. Нынче все было по-другому. Война изменила Евгения. Он разом повзрослел, сделался хмурым, серьезным. Он стал мужчиной, и девушка почти боялась его. Он уже не был домашним, милым, московским, родным. От него пахло войной.

– Это безумие – оставаться в городе! – убеждал он графиню. На Елену не глядел, и та в смятении теребила ленты на поясе муслинового платья – нарядного, надетого для жениха. А он и не заметил...

– Я жду весточки от мужа, – отвечала Антонина Романовна. – Если к утру не получу, то отправимся, с Богом. Карета уже заложена.

Графиня встала и вышла, держась прямо и твердо, но Елена знала, что матушку душат рыдания. В последние дни в доме Мещерских плакали часто. Евгений как будто впервые заметил Елену, но в его темных глазах невозможно было что-либо прочесть, они смотрели сквозь нее.

– Может быть, уже не свидимся. Не поминайте лихом вашего суженого. Много суженых нынче падет. Невест останется больше, чем женихов. Я освобождаю вас от данного слова.

– Что за глупые мысли лезут вам в голову, Эжен?! – вспыхнула она и тут же покраснела. Как сухо говорил он! Разлюбил?!

Ночью ей привиделся Евгений. Она привскочила на постели, прижимая к груди скомканное одеяло. Отбросила его на пол, упала со вздохом на подушку. Он снился прежним и был в штатском. Только весь в крови. Граф просил у нее прощения. Она уже не помнила за что, но на сердце вдруг сделалось так тяжело...

А наутро снова прибежал вихрастый мальчишка Шуваловых. С веселым криком «Отыскался ваш граф Денис Иванович!» он влетел в гостиную, где шли последние приготовления к отъезду. Елена в это время вместе с нянькой, старухой Василисой, упаковывала любимые батюшкины графин и рюмки из баварского рубинового стекла. Матушка ни за что не хотела оставлять их французам. «Пусть лучше в дороге поколотятся, – в сердцах приговаривала она, – да только не буду потчевать врагов!» Василиса одобритительно при этом кивала головой и шамкала беззубым ртом: «Куды ж аршинников потчевать! Может, еще и христосоваться с ними?» Французов она звала аршинниками по той простой причине, что бывала иногда с господами в модных французских магазинах, о которых потом говаривала: «Дерут-ут! За такой пустяк дерут, что, тьфу, сказать совестно! А все лучше русских, потому француз хоть и сдерет, а не обмерит, а с нашего и не спрашивай! У него и вершок за аршин в базарный день идет!» Поэтому особого разбоя со стороны французов Василиса никак не опасалась и к общей панике относилась с видимым презрением.

– Жив ли? – всплеснула руками Антонина Романовна, услышав принесенную весть.

Мальчишка вытер нос широким рукавом рубахи, потупил взор и пробасил:

– Не знаю...

Уже по его голосу, по этим глазам, опущенным долу, Елена почувствовала – надвигается что-то страшное, неминуемое. Ей стало душно, как давеча во время сна. Любимый отцовский графин выскользнул из рук, рассыпался на тысячу осколков. Паркет словно обрызгали кро-

вью. Василиса размашисто перекрестилась: старухе это показалось дурным знаком, хотя, как известно, посуда бьется на счастье. Она тотчас принялась собирать осколки в подол платья.

– Брось! – резко приказала ей Антонина Романовна. – Не до того теперь!

Трудно пришлось Михеичу, старому кучеру Мещерских, понукавшему четверню разномастных лошадей, плохо покормленных в дорогу. Карета двигалась навстречу людскому потоку, и потому очень медленно. А поток бурлил, гремел, визжал, сметая все на своем пути. Это бежали из города простые горожане, не желавшие хлебосольствовать с врагом или быть поджаренными на углях собственных домов. Из уст в уста передавалось послание Ростопчина Кутузову, в котором тот обещал превратить Москву в пепел. Вывозимые из города пожарные трубы красноречиво подтверждали слова генерал-губернатора. Эти трубы ужасали людей чуть ли не больше французской угрозы. Некуда было бежать простым людям, а все равно бежали. Михеич наконец смекнул своротить на тихую улочку, ведущую к Донскому монастырю. Здесь было свободней. Шуваловский мальчишка, сидевший рядом на козлах, внимательно смотрел по сторонам, вглядываясь в дома.

– Такой большой, в два этажа, – пояснял он Михеичу.

– Казенный, что ль? – Михеич смотрел на парня свысока, надменно прищулив один глаз.

– Вроде бы... – пожимал плечами мальчуган. – Мы не знаем.

– Коли казенный, знать, дохтур имеется, – глубокомысленно изрек старик.

– Вчерась, говорят, был, – с олимпийским спокойствием подтвердил мальчишка и, утерев рукавом нос, прибавил: – А сегодня никак убёг.

– Как это «убёг»? Не может того быть! Чаво языком зря мелешь! – С досады кучер стегнул лошадок, и те пошли быстрее.

Антонина Романовна не отрывала глаз от окна кареты. Люди, убежавшие из города, производили на нее странное впечатление. Она вполне понимала чувства и страхи, которые ими движут. Но в то же время не могла отделаться от мысли, что они похожи на крыс, а Москва, ее многострадальная Москва – на тонущий корабль, который уже невозможно спасти. В глазах графини появилось что-то новое, пугавшее Елену. Она чувствовала, что прежняя милая, мирная и домашняя маменька стала другой – по-военному суровой. «Вот и Евгений вчера был совсем другой. Неужели мы все станем другими? И папенька, и маменька, и я, и даже вот Михеич и нянька?» Елена робко держала мать за руку и умоляла не волноваться. Все обрзается. Они увезут папеньку в деревню. Там он быстро поправится. Он сам всегда говорил: «Деревенский воздух – лучшее лекарство. О том в любом календаре писано...»

– Вона! Вишь? – закричал шуваловский мальчишка, приподнимаясь на козлах.

Впереди показалась изба, почерневшая от времени. Каким образом сохранилось это допотопное сооружение, поставленное здесь еще во времена царицы Софьи, оставалось загадкой. Слюдяные окна, редко где уцелевшие в Москве, зловеще тускло отражали солнечный свет и глядели недобро. Сама изба походила на подслеповатую старуху в полусгнивших кружевах. За деревянными покосившимися воротами открывалась поистине ужасная картина. Весь двор и даже крыльцо были устланы мертвыми телами. Тошнотворный запах тления уже завладел этим злосчастным местом. Из дома доносились стоны и крики раненых, но двор... Двор был мертв. Ни одной живой души.

Графиня, пораженная этим зрелищем, встала в воротах как вкопанная. И вдруг чуть качнулась – не то от трупного духа, не то от ужаса. Михеич стянул с головы шапку, с которой не расставался даже в самые жаркие дни. Елена, несмотря на подступивший к горлу ком, нашла в себе силы преодолеть страх.

– Что стоишь? – обратилась она к мальчишке. – Показывай!

Опустив голову, он молча указал на телегу посреди двора. Была еще надежда, что этот шалопай обознался и принял за графа Мещерского кого-то другого. Виданное ли это дело,

чтобы офицер, потомок знатного рода, оказался вот так на телеге с соломой посреди незнакомого двора, всеми забытый?

Денис Иванович лежал с широко открытыми глазами, устремленными в небо. Не было в его взгляде ни страдания, ни укора, разве что удивление пред вечным престолом, к которому устремилась его душа. Михеич, смахнув слезу и перекрестившись, закрыл глаза своему господину, шапкой отогнал от его застывшего лица жадных неторопливых мух, густо роившихся во дворе. Елена крепко обняла мать, прижалась к ней всем телом, ища защиты, но графиня не смогла устоять на ногах. С криком отчаянья повалилась наземь и зашлась рыданиями. Сама Елена плакала, не замечая этого. Она бросилась к матери, попыталась поднять ее дрожащими слабыми руками, а в голове у нее стучало: «Вот это война! Вот это уже война!»

На крик Антонины Романовны из дома вышел монах с изможденным лицом. Вроде бы не старый, но волосы и борода седые. Руки его были в крови, по лицу крупными каплями катился пот. Монах послал мальчика к колодцу за водой. Антонина Романовна пила прямо из ковша, и было слышно, как стучат в лихорадке ее зубы. Елена гладила матушку, ласкала, но та никак не могла уняться. От монаха они узнали, что граф скончался еще вчера вечером. А ночью доктор и сестра милосердия на случайно подвернувшейся подводе увезли несколько раненых, безнадежных оставили здесь умирать.

– Пришли последние времена, – заключил монах свой грустный рассказ. – Некому лечить раненых, некому отпевать усопших... Доктора убегают от больных, священнослужители – от своих прихожан...

Преосвященный Августин, архиепископ Московский, бежал, захватив по приказу царя иконы Иверской и Владимирской Богоматери. Его кортеж застрял на Владимирской дороге среди бесконечных обозов и карет. Вид растерянного, напуганного до смерти архипастыря не украшал и без того позорное бегство. Москвичи, не стесняясь, бросали ему прямо в лицо слова укоризны, осыпали ругательствами. Вслед за Августином предались бегству все без исключения священники, несмотря на то что в городе оставалось около двадцати тысяч жителей и примерно столько же раненых. «Сорок сороков» осиротели. Никогда еще Москва не была такой беззащитной, кощунственно брошенной на поругание врагу. Даже в летописях времен разгула татар, когда русские священники подвергались жесточайшей опасности, не найдешь подобных примеров трусости и малодушия.

Обратная дорога показалась Елене самой длинной в ее жизни. Тело Дениса Ивановича от тряски то и дело соскальзывало со скамьи на пол, и ей приходилось без конца поправлять его. Если сначала она касалась покойника с почтением и страхом, то под конец, измотавшись, проделывала это почти бесчувственно. Антонина Романовна, как безумная, кричала и рвала на себе волосы:

– Господи! За что ты покарал меня? Отчего не уберег голубчика? Возьми тогда и меня, коль это твой праведный суд!

– Что вы, маменька, такое говорите! – ужасалась ее словам Елена. – А как же я, ваша дочь? Выходит, останусь круглой сиротой?

Но графиня как будто ничего не слышала, не видела отчаяния дочери.

А между тем улицы уже опустели, в городе наступило зловещее затишье. Чем ближе они подъезжали к своему дому у Яузских ворот, тем ощутимее становился смрад начавшегося пожара. Горели лавки москательного ряда, ничем не сдерживаемый огонь грозил перекинуться на весь Китай-город.

Графиня была почти без чувств, из кареты ее вынесли на руках и уложили в гостиной. Василиса приготовила отвар из сон-травы, но Антонина Романовна долго не могла успокоиться, в дремотном состоянии бормотала несвязные слова – что-то про жемчужное ожерелье

для первого бала. Время от времени она срывалась на бессмысленный крик, чем сильно расстраивала Елену. Наконец крепкий сон завладел измученной женщиной.

Тем временем тело Дениса Ивановича обмыли и положили в гроб, который Михеич раздобыл в брошенной лавке гробовщика. Но гроб – полдела, куда хлопотнее было найти священника.

– Хоть дьяка, хоть псаломщика, но кого-нибудь приведи! – умоляла Елена Михеича.

Она впервые отдавала распоряжения как взрослая, как настоящая госпожа – совсем как в детстве, когда она с подругами играла «в больших». Только вместо кукол в ее подчинении были кучер да старая нянька. Дворовых людей батюшка забрал на войну, и никто из них не вернулся, а прислугу матушка третьего дня отправила в деревню с ценными, как ей казалось, вещами и велела дожидаться их с Еленой приезда. В то время, когда все знакомые Мещерских, убегая, оставляли слуг присматривать за имуществом, графиня умудрилась сделать по-своему. «Какая же ты, Антонина Романовна, бестолковая!» – покачала бы головой их соседка графиня Шувалова. Из-за отсутствия слуг стулья в гостиной стояли вразброд, повсюду лежал сор, а причесываться Елене приходилось самой – старая Василиса для этого не годилась. Однако мелочи, еще утром до слез раздражавшие девушку, теперь казались ей глупым вздором.

Она встала на колени перед гробом отца и принялась молиться.

Вечером неожиданно раздался звон с Ивановской колокольни. Он долгим эхом отражался в пустынных переулках бульварного кольца, пока французские пушки не ударили в ответ холостыми зарядами по Арбату и другим улицам, словно колокол представлял для них опасного противника.

Первыми в Кремль вошли польские уланы, прямо как двести лет назад, когда их привел в столицу Лжедмитрий. Правда, тогда московский люд почитал шляхтичей за освободителей, а нынче кучка мужиков, то ли ремесленников, то ли колодников, встретила их ружейными выстрелами у ворот арсенала, да, видать, в ружьях имелся изъян. Никто из кавалеристов не пострадал, а патриоты в тот же миг были частью порублены, частью обезоружены. Один оставшийся в живых какой-то совсем отчаянный мужичонка набросился на польского генерала, приняв его за Наполеона. Он повалил генерала наземь, раздробил ему прикладом череп и со звериным рыком принялся рвать зубами лицо. Безумца зарубили, а площадь Кремля огласилась отборной польской бранью.

С быстротой молнии среди солдат распространился слух, что Кремль заминирован по приказу Ростопчина. Об этом тотчас доложили императору. Он вызвал своего адъютанта графа Филиппа де Сегюра, который прекрасно знал Россию и русских, потому что был сыном бывшего посла при дворе Екатерины Великой. Кроме того, пять лет назад он побывал у русских в плену, о чем всегда вспоминал с теплотой. Де Сегюр посмеялся над нелепой солдатской выдумкой. «Русские никогда не взорвут своей святыни, Ваше Величество», – без тени сомнения заверил он. Однако Наполеон не разделял его веселья, относясь с подозрением к слухам подобного рода. Император дал ему отряд жандармов и отправил в Кремль искать мины.

Де Сегюр оказался прав. Кремль не был заминирован, зато в доме самого губернатора Ростопчина на Лубянке были обнаружены поленья, начиненные порохом. Попади они в камин, дом взлетел бы на воздух.

Михеич вернулся с дурными вестями. Отпевать Дениса Ивановича некому, а в городе уже полно французов. Они занимают лучшие дома. Того и гляди, пожалуют сюда.

– Отвезем завтра батюшку в Новодевичий монастырь, – не впала в отчаянье юная графиня, – положим рядом с бабушкой. Авось в монастыре кто-нибудь отыщется...

– Авось и отыщется, – пробормотал Михеич, не разделяя ее оптимизма, – да только, барышня, вам лучше бы не казаться на глаза басурманину!

– Брось, Михеич! – усмехнулась Елена. – Какие же они басурмане? Французы – приличные, цивилизованные люди. Завтра, даст Бог, схороним батюшку, а после, если матушка будет здорова, отправимся в путь. В деревне нас уже заждались.

Старый графский кучер только покачал головой в ответ. Что взять с девчушки, которой недавно исполнилось шестнадцать лет? Совсем жизни не знает, а Господь взвалил на нее такую непосильную ношу. Мать-то вроде того... умом повредилась. С тех пор как увидела Дениса Ивановича мертвым, ни одного вразумительного слова не произнесла.

Юная графиня приказала Михеичу запереть ворота и накормить лошадей. Няньку, валившуюся с ног от усталости, отослала спать, сама напоила ее отваром, сурово сдвинув при этом брови и поджав губы, совсем как Василиса, когда та давала «своей барышне» лекарство. Не сознавая того, Елена пыталась подражать взрослым – матери и няньке, оказавшись вдруг за них в ответе. Упрямая старуха не захотела покидать гостиной («Прикорну часок да буду всю ночь молиться за упокой души Дениса Ивановича...»), устроилась в глубоком кресле рядом с Антониной Романовной, спавшей на кушетке, и вскоре издала протяжный жалобный храп, словно пыталась затянуть колыбельную, одну из тех, что часто пела Елене в детстве.

В этот вечер рано стемнело. Не от того ли, что небо над Москвой заволокло дымом? Елена зажгла свечи, заботливо накрыла матушку шалью, осторожно поцеловала ее в соленую от высохших слез щеку и вышла из гостиной. Она быстро прошла темным, мрачным коридором, соединявшим дом с одним из флигелей. Это был особый флигель. В нем располагалась огромная библиотека, которую начал собирать еще дед Дениса Ивановича, Семен Евграфович, служивший в высоких чинах при Петре Великом. Он был одержим страстью к собирательству, истратил на коллекцию огромные средства, едва не разорившись. Его знали все знаменитые букинисты Европы и относились к нему с большим почтением. Страсть Семена Евграфовича к собирательству книг передалась по наследству сначала сыну, а затем внуку. Но каждый из Мещерских шел своей, особой стезей. Семен увлекался медициной, алхимией, астрологией и прочими науками и лженауками. Его сын Иван предпочтение отдавал великим философам и драматургам, а Денис Иванович собирал сказки, предания, легенды и былины. Его особой гордостью была привезенная им из Персии книга в золотом сафьяновом переплете – арабские сказки, изданные в девятом веке на фарси и содержавшие всего четыреста семнадцать ночей.

Книгохранилище Мещерских представляло собой замысловатый лабиринт в три этажа. Полки, стеллажи и шкафы с десятками тысяч томов. Человек несведущий вполне мог заблудиться в этом лабиринте.

Елена села в отцовское кресло, с нежностью погладила малиновое сукно, которым был обтянут письменный стол. Сколько замечательных часов провел за этим столом Денис Иванович! Она с детства любила сидеть рядом. Батюшка читал ей сказки, рассказывал поучительные истории из своей жизни. Она любила просто сидеть и слушать, как скрипит перо в его руке. Потом, когда подросла, они по большей части вели философские беседы, говорили о жизни и смерти...

Вновь нахлынули слезы, но девушка прогнала их. Сколько она плакала! «Сегодня у меня и слезы как будто другие, не мирные... Военные. Неужели я уже изменилась?» Елена взяла чистый лист бумаги, обмакнула в чернила перо и вывела по-французски: *«Эжен, мне так страшно сегодня, как никогда еще не было! Вы сочтете, наверно, слова мои детскими и преувеличенными? Но посудите сами, батюшка мертв, матушка от горя, кажется, тронулась умом, дом почти пуст, в городе бесчинствует враг, колокола на церквях молчат... Мне это не приснилось, не привиделось, не...»*

Слеза все-таки скатилась на бумагу и превратила последнее «не» в бледное, жалкое пятно. Елене вдруг стало стыдно собственной слабости. Она скомкала лист и бросила его. Откинулась на спинку кресла. Закрыла глаза и прошептала сквозь зубы: «Я ничего не боюсь!» И повторяла эту фразу, пока не провалилась в сон. Снова приснился Евгений. И снова в штат-

ском. На этот раз он смеялся над ней и за что-то журил. Во сне ей было очень душно. Вот-вот упадет в обморок, свалится без чувств прямо к его ногам! Какой позор! Вдруг раздался хлопок, будто где-то рядом запустили фейерверк. Откуда-то ворвалось тревожное лошадиное ржание.

Елена открыла глаза и поморщилась. Запах гари проник даже сюда! Но как это могло случиться? От Китай-города их отделяет Яуза. Не может ведь, в самом деле, загореться река? Она выглянула в окно. Двор был полон густого дыма, в нем метались обезумевшие лошади. Елена схватила свечу и бросилась обратно в гостиную. Слезились глаза, в горле першило. Она пробиралась на ощупь. Гостиная уже была охвачена огнем. Из груди девушки вырвался отчаянный крик, но она тут же взяла себя в руки. «Нет, не может быть! Они успели выбежать во двор! Непременно успели! Они во дворе, матушка и Василиса. Ждут меня, кличут...» – утешала себя Елена, ей даже показалось, что она слышит свое имя. Однако выйти через парадное крыльцо было невозможно, там всюду бушевало пламя. Оставался только один путь – через библиотеку. Задыхаясь от дыма, Елена вбежала в книгохранилище и заперла за собой дверь, будто это могло спасти от огня ее самое драгоценное наследство, собранное тремя поколениями Мещерских.

Выйдя во двор через флигель, ни матушки, ни Василисы она не увидела. Карета с их фамильным гербом уже догорала, возле нее лежал человек. Елена приблизилась, встала на колени и ахнула. Это был Михеич. Он сжимал в руке топор, а из груди его лилась кровь. Тот самый хлопок, который она во сне приняла за фейерверк, наяву оказался выстрелом.

– Мадемуазель, вы обожжетесь! – раздалось за ее спиной по-французски. И тут же чьи-то грубые руки подхватили девушку и поставили ее на ноги.

Перед ней стояли два гренадера. Один, плечистый и массивный, с рыжими усами, держал напольную китайскую вазу из гостевого флигеля и мешок. Другой, ростом пониже, с заливчатым усом, крепко сжимал локоть Елены. От обоих сильно несло вином, глаза их опасно блестели. Девушка задрожала всем телом.

– Послушай, Гастон, – обратился высокий к приятелю, – а у этой куколочки красивая мордашка!

– Почему бы нам не поразвлечься? – подмигнул Гастон рыжеусому.

Тот похотливо усмехнулся, расколол о землю вазу, вдруг потерявшую для него всякую ценность, отшвырнул мешок, а затем одним ловким и, видно, привычным движением порвал на груди Елены платье. Девушка, содрогнувшись от прикосновения жадной грубой руки, мгновенно отвесила пощечину и процедила сквозь зубы:

– Не смейте ко мне прикасаться!

На это бравые гренадеры ответили громким, добродушным смехом. Но рыжеусый вдруг замолчал, наткнувшись на обжигающий взгляд Елены.

– А она несговорчива, – сально усмехнулся он.

– Ты бы с ней понежнее, друг Лаперуз. Барышни это любят.

– Обойдусь без твоих советов! – отрезал рыжеусый и приказал: – Держи ее крепче!

Французы повалили юную графиню наземь. Она отчаянно сопротивлялась, рвалась, кусалась, однако силы были слишком не равны. И вдруг сквозь собственный крик, сквозь ругань французов, сквозь треск огня она отчетливо расслышала два хлопка. Елена уже знала, что это не фейерверки. В тот же миг руки державшего ее Гастона ослабли, он по-щенячьи взвизгнул и опрокинулся на спину. А Лаперуз надул щеки, выпучил глаза, всем своим грузным телом навалился на девушку и забился в предсмертных судорогах. У нее уже не было мочи кричать. Из последних сил она столкнула с себя мертвого гренадера.

Перед ней стоял молодой парень, судя по виду, крестьянин. Он был высок, плечист – вылитый богатырь из былины. В обеих руках он держал пистолеты, из которых еще струился легкий дымок. Появление его здесь было похоже на чудо. Девушка вытерла слезы, перекрестилась и истерично зашептала слова молитвы вперемешку с благодарностями.

– Не время молиться, барышня, – сказал парень хрипловатым голосом, перезаряжая при этом пистолеты. – Бегите! После помолимся...

Одет он был в какое-то рубище, голова выбрита, как у татарина, и речь его не походила на крестьянскую.

– Куда бежать?..

В гостиной вовсю бушевал огонь. Елена теперь понимала, что ни матушка, ни Василиса не спаслись. Обе слишком крепко спали, когда пришли эти изверги! Что же получается? Она осталась одна? Страх, холодный и липкий, сковал тело. К голове прилила кровь, в глазах потемнело. С трудом поднявшись, она, шатаясь, побрела к дому. Крыльцо было охвачено пламенем, белые колонны стали черными. Барельеф с изображением святого Георгия («Егория!» – поправляла всегда бабушка), убивающего змия, с грохотом сорвался со стены и разлетелся на мелкие кусочки. Сзади раздалось:

– С ума спятила?!

Богатырская рука подхватила ее и понесла куда-то, словно перышко. Она не сопротивлялась.

– Вот черти окайные! – вдруг выругался незнакомец и опустил Елену на землю.

Она увидела, что в ворота заглядывают французы. Вновь раздался два хлопка, и незваные гости пали ниц. Ее спаситель бросился за остов догоравшей кареты, укрываясь от вражеских пуль.

– Беги к реке! – крикнул он, заряжая пистолеты. – Спасайся!

Удивительное дело! Минуту назад она готова была кинуться в огонь и разом покончить со всем, а теперь побежала не чувствуя ног, спасая маленькую, хрупкую безделицу – свою жизнь. Кто заметил бы ее исчезновение в адском огне, охватившем город? Еще капля крови, еще одно страдание среди сотни тысяч... Смерть касалась только ее самой, и она бежала от нее, не зовя никого на помощь. В их чудесном яблоневом саду Елена хорошо ориентировалась даже в темноте. Узкая тропинка сбегала вниз, к Язуе. Там стояла лодка!.. На миг девушка замерла. Ее взору открылась страшная и в то же время величественная картина. Пламя над Китай-городом, казалось, достает до небес, сквозь него и сквозь клубы черного дыма едва виднелись старинные стены и башни Кремля. Сердце Елены сжалось при виде этого зрелища. Она оглянулась. Прислушалась. Погони не было. Замедлив шаг, спустилась к самой реке.

Лодки не оказалось на месте. Ее всегда привязывали у старой беседки, где Мещерские любили чаевничать за шипящим самоваром, слушать рассказы бабушки Пелагеи Тихоновны о давних временах, о людях давно ушедших, о нравах и обычаях минувшего века. Потом катались на лодке, и бабушка ворчала, что добром это не кончится: уж очень боялась воды. Пелагея Тихоновна скончалась год назад, разменяв восьмой десяток. Елена плакала дни и ночи напролет, так что домочадцы начали беспокоиться об ее здоровье. Без бабушки мир казался ей каким-то опустевшим, увечным, потерявшим свои краски. Тогда она впервые задумалась о том, что такое смерть. А нынче... Нет, нельзя сейчас об этом думать! Надо искать лодку, надо бежать, чтобы пережитый только что кошмар не повторился вновь.

Елена собралась с мыслями. Кажется, генерал-губернатор отдал приказ сжечь все лодки, барки и баржи на реках Москвы, но она не могла припомнить, чтобы матушка отдавала такое распоряжение Михеичу. Может быть, их лодку сжег кто-то другой, проплывая мимо? Нет, Михеич, всегда радевший за сохранность барского имущества, должно быть, припрятал ее от чужих глаз.

Девушка осмотрелась. Зарево пожара на другом берегу освещало все вокруг, было видно, как днем. За беседкой росли кусты шиповника. Бабушка Пелагея Тихоновна любила чай с шиповником, для нее всегда специально заваривали в особом медном чайничке. «Попробуй моего чаю, Аленушка, – говаривала она обыкновенно, – весьма полезен и превкусен...» Аленушка благодарила, но, отпив глоток, морщила нос и отодвигала чашку. Елена сообразила,

что шиповник – единственное место, где можно было спрятать лодку. Так и есть. Она лежала кверху дном в кустарнике.

– Спасибо, Егор Михеевич, за верную службу. Пусть земля тебе будет пухом, – переkreстилась юная графиня.

Вытащить лодку оказалось делом не простым. Шипы любимого бабушкиного куста царапали лицо и руки, рвали платье. И все же с ним управиться было легче, чем с пьяными гренадерами.

Только выплыв на середину Яузы, Елена смогла облегченно вздохнуть. Грести ее когда-то выучил отец, и домочадцы диву давались, зачем это юной графине? «В жизни все пригодится», – улыбался в ответ Денис Иванович, часто державшийся новых взглядов на воспитание. И вот пригодилось... В этой самой лодке Евгений признался ей в любви, краснея, путаясь во французских словах. «Я вас тоже люблю, Эжен», – прошептала она, едва сдерживая слезы. Как все было просто, по-домашнему, и сколько нежности испытала она к нему в тот миг, обещая прожить с ним вместе всю жизнь – долгую мирную жизнь, которая перед ними открывалась. Он прижался губами к ее руке, а она, робея и трепеща от своей смелости, погладила его щеку так тихо, что Евгений этого даже не заметил...

Елена очнулась от воспоминаний – впереди ее ждало новое испытание. Яузский мост, под которым предстояло проплыть, весь был охвачен огнем. Горящие бревна с жутким, живым, стонущим гудением, сыпались в реку. Казалось, вода под мостом тоже горит. Девушка оторвала от подола клочок ткани, смочила его и покрыла им голову от огня. Затем зажмурилась и, что было сил, налегла на весла.

Она сразу почувствовала обжигающее дыхание моста. Стало горячо, как в детстве, когда она болела скарлатиной и домашний врач Клаузен колдовал над ней. Но его примочки, снадобья и кровопускания мало помогали. Ее уже считали обреченной, как и других шестерых детей Мещерских, схороненных в разные годы. Два дня и две ночи она пребывала между жизнью и смертью, металась, бредила. «Матушка! Матушка! У вас на голове китайские драконы, как на нашей вазе! Красные и золотые!» – кричала девочка, пытаясь снять нечисть с головы матери. «Бог с тобой, Аленушка! – целовала ее ручонки Антонина Романовна, обливаясь слезами. – Это тебе попритчилось...» А Василиса прибавила: «Лукавый вокруг нее бродит. Отнять хочет наше дитятко!» А когда наутро жар спал и маленькая графиня попросила дать ей «звонок» (так назывались круглые плоские яблоки, зернышки у них точно в погремушке гремели), все в доме возрадовались. А старая нянька на радостях скрипуче спела свою любимую, невесть откуда взятую песню:

Как во городе было, во Казани,
Грозный царь пировал да веселилси.
Он татарей бил нещадно,
Чтоб им было неповадно
Вдоль по Руси гулять...

Дышать давно было нечем, дым забивал горло, раздирал грудь. Елена кашляла, стараясь схватить хоть глоток воздуха, но его не было в этом гудящем пекле. Она выпустила весла и упала на дно лодки, медленно плывущей под горящим мостом...

Очнулась уже под утро – обморок перешел в глубокий, вызванный усталостью и потрясениями сон. В первый миг, открыв глаза, она поразились тому, как жестка ее постель, и с трудом поняла, что лежит на дне лодки. Над тихо струящейся рекой, над тонким стелющимся туманом лениво вставал огромный огненный шар, обещая ясный теплый день. Москва давно была позади. Елена со стоном приподнялась и села. Разбитое тело ломило, непривычные к долгой

гребле руки покрылись волдырями. С обоих берегов глядели неказистые домишки какой-то деревеньки.

Она была в безопасности.

Глава вторая

Почтенный дядюшка героини нанимает необычного слугу. – Новый комендант Москвы и его первые шаги на этом поприще

Князь Илья Романович Белозерский переживал лихие дни в Тихой Заводи, своем тверском имении. Вставал по-деревенски рано, с петухами, хозяйским, тяжелым шагом шел на скотный двор, проверял амбары: не покрадено ли чего за ночь? – Эта мысль и поднимала его задолго до рассвета лучше самого голосистого петуха. Людям своим Белозерский не доверял, живя в уверенности, что его окружают воры, а если кто до сих пор вором не сделался, то единственно из страха перед ним да еще потому, что он, князь, успевает присмотреть за хозяйством сам. «А то бы по миру пошел, с котомочкой, и у своих же холопов побирался бы! Как раз ограбят!» Раз в неделю беспокойный князь посылал кого-нибудь из дворни в уездный город – узнать, далеко ли француз и что вообще делается на белом свете. Ждал возвращения гонца со страстным нетерпением, весь день нервно шаркал туфлями по комнатам, ни за что ни про что набрасывался на прислугу. Орлиный нос Ильи Романовича всюду вынюхивал «скверность», его густые рыжеватые брови имели удивительную способность хмуриться изо дня в день. Тонкие губы почти не знали улыбки, если не брать во внимание кривившую их презрительную усмешку. Маленькие серые глазки буравили собеседника подчас так, что тому казалось, будто ему заглянули в самые тайники души. Этот взгляд смущал даже равных князю, а уж его дворовые люди и подавно избегали смотреть барину прямо в глаза, что укрепляло его в уверенности, будто все они воры. «Коли ты честный человек, то смотри мне прямо в глаза, – любил он повторять, назначив очередное наказание слуге. – А то и спрашивать нечего, сразу видно, что-то украл или украсть хочешь!» К слову сказать, предугаданное намерение что-то украсть князь считал куда хуже самого доказанного факта кражи, так как убытки тут могли последовать непредсказуемые и для его беспокойного воображения вдвойне страшные.

Белозерский уже второй год вдовел. Его жена Наталья Харитоновна преставилась прошлым летом в самом расцвете молодости. Неизвестная болезнь извела ее буквально за три месяца, высосала все жизненные соки, изъела, как червь яблоко. В гробу лежала измученная, высохшая старуха двадцати девяти лет от роду – мумия, страшное напоминание о прежней красавице. Она оставила князю двух сыновей мал мала меньше, Бориса и Глеба. Смерть княгини отразилась на детях по-разному. Покойница любила их одинаково, теперь же они целиком перешли под власть отца, а тот относился к сыновьям неровно. Старшего часто баловал конфетами и прочими сладостями. К младшему, напротив, был холоден и подчас жесток. Глебушка тяжело перенес смерть матери, поначалу впал в жестокую горячку, и домашние думали, что юный князь уже не выкарабкается. По приказу отца, не терпевшего проволочков с похоронами и прочими слезливыми обрядами, уже был изготовлен и маленький нарядный гробик, обитый голубым бархатом, обшитый серебром. Но мальчик неожиданно для всех начал выздоравливать, гробик пришлось отдать деревенскому старосте, у которого померла новорожденная дочка. Бархат и серебро при этом, разумеется, ободрали – к чему крестьянской девочке такое баловство? Глебушка же шел на поправку медленно, почти не вставал с постели и, как вскоре обнаружилось к всеобщему ужасу, после перенесенной горячки замолчал, лишился дара речи. Белозерский всегда с презрением относился к слабым и убогим, считал их людьми лишними, потенциальными ворами и дармоедами. Нелюбимый и ранее, а ныне больной ребенок вызывал у него крайнее раздражение и ненависть. «И что мне теперь в этаким наследничке? – строптиво вопрошал он несправедливое провидение, с которым и вообще любил поспорить в припадке мизантропии. – Корми его, учи, воспитывай, а после, пожалуй, еще и выдели ему такую же часть имения, как брату. Будто их можно рядом поставить! Что ж он, прославит мой род вели-

кими делами, что ли? Состояние дедов преумножит? Отечеству будет служить на поле брани? Нет, он будет лекарства весь свой век сосать, небо коптить да лекаришек возле себя кормить. И еще меня, старика, пожалуй, попрекнет – зачем я для него, хворого, мало припас?! Знаю, что грех роптать, но тут поневоле возропщешь. Наказал Господь!»

Дела князя тоже не могли добавить ему оптимизма. Еще будучи молодым человеком, бравым офицером кавалерийского полка, Белозерский пристрастился к игре в карты. Огромное состояние, несколько имений и двадцать тысяч душ крестьян, оставленных ему родителями в наследство, были промотаны в какие-нибудь пять-шесть лет. Сестра Антонина Романовна пыталась спасти его от полного краха и разорения, требовала выйти в отставку, поступить на службу в департамент, но Илья Романович рассмеялся ей в лицо, обозвал «благодушной короной». С тех пор оскорбленные Мещерские его у себя не принимали. «Зазорно им, видишь ли, принимать меня, – жаловался князь на родственников своим блестящим приятелям по карточному столу. – Будто я у них чего украл. Мотаю, верно, но свое мотаю, чужого не беру! Считать чужое состояние – это, по-моему, все едино, что в чужом кармане рыться! Сестрица стала жадна, как замоскворецкая купчиха, и право, не большая-то честь быть у нее принятым!» Приятели сочувственно возмущались «недворянским» поведением Мещерских и всячески поощряли разгоряченного Илью Романовича к «благородно-широкой» игре.

Остепенился князь, только женившись на благоразумной Наталье Харитоновне и выйдя в отставку. К тому времени у Белозерского оставался еще дом на Пречистенке да небольшой капиталец, полученный в наследство от троюродной тетки Татьяны Львовны Прониной вместе с ее имением Тихие Заводы и тремя сотнями крестьян. Тетка эта была старой девой и с презрением относилась ко всему мужскому роду, за исключением блестящего племянника. «Илюша хоть и проказник, мот и шалопай превеликий, зато держит себя с настоящим княжеским достоинством! – говаривала старуха, лепя перед зеркалом мушки на свое желтое обезьянье лицо. – Промотать такое состояние в пять лет – это может только принц крови, теперь таких людей уж все меньше... Нынче уж не поймешь – князь перед тобой или простой приказный, и мода-то у мужчин вся стала приказная. Все черное либо зеленое, кружев и не ищи, а обувь, обувь! Ну стал бы кто упрекать Илюшу в наше-то время, когда на пряжках туфель у графа Зубова были бриллианты с голубиное яйцо?! Быв на балу у матушки императрицы и танцовал с нею, граф потерял бриллиант, и что же? Приказал его искать, вы думаете? Фи! Он лишь оторвал другой и бросил его прочь, дабы не нарушать картины! Илюша, я в уверенности, сделал бы так же, не уронил бы достоинства!» Она даже призналась своей камеристке незадолго до смерти, что, колеблясь, вышла бы замуж за этого милого шалопая, если бы не мешало родство да огромная разница в возрасте. Князь, блиставший в свете своими огромными проигрышами и долгами, и не подозревал, что приворожил ими эту брюзгливую старую деву!

Имение тетки приносило мизерный доход. Старухе, употреблявшей эти деньги на кофий, пудру и французские романы, хватало в самый раз, а вот привыкшему к мотовству князю приходилось не сладко. Каждый свечной огарок в его новом хозяйстве был на учете, каждый черствый кусок на виду, и оттого сразу завелся полицейский строгий надзор за дворовыми людьми. Воров Илья Романович наказывал розгами собственноручно и не раз, увлекшись восстановлением нравственности, себе в убыток засекал их на смерть, о чем потом горько сожалел. Наталья Харитоновна тоже не давала деньгам безрассудно утекать. Молодая хозяйка вела жизнь скромную, никаких балов и роскошных нарядов даже в мечтах не держала и мужа старалась образумить. «Ну зачем нам, Илья Романыч, свой выезд иметь? Посуди сам, о расстроенных делах наших все прекрасно наслышаны. Будет с нас людям пыль в глаза пускать... И кормить лишних лошадей незачем и нечем!» Опять же не дала ему завести собственную псарню в имении. «Борзые с гончими да легавые не малых денег стоят! И не думай, Илья Романыч, и не затевай! Собак только переморишь и в долги войдешь!» «Какой же я после этого помещик, без псарни?!» – возмущался прирученный повеса, но жена ставила на своем то лаской, то убеждением. Прихо-

дилось бедному князю ждать, когда кто-нибудь из соседей пригласит его на охоту «без своих собак», как последнего бедняка. После смерти жены Белозерский было пытался восстановить старые обычаи. В доме появились карты и друзья-собутельники, но капитал князя был уже не тот, он вынужденно сделался заметно прижимистей, что лишало игру прелести прежнего блеска, да и война не дала разгуляться по-настоящему. Игра лишь возбуждала его, не принося удовлетворения. Так возбуждается, не достигая блаженства, стареющий развратник, не имеющий больше сил для любви. У Белозерского же не было денег.

Вечерний чай в Тихих Заводах. Томительно долго тянется этот скучный час, в который Белозерский чувствует себя отошедшим от бурной жизни стариком. Раньше он хоть чаевничал с Натальей Харитоновной, женщиной умной и начитанной. С ней и о политике можно было поспорить, и обсудить новую постановку в Арбатском театре, и обоюдно восхититься великолепной игрой мамзель Марс, и посплетничать по поводу государевой пассии. Нынче же он делил компанию с карлицей, шутихой Евлампией. Она жила в доме на особом положении, была остра на язык и несдержанна, подчас дарила князя откровенным крепким словом. Ей все сходило с рук. Поговаривали, что она приходится Белозерским дальней родственницей, но никто не знал этого наверняка. Во всяком случае, Евлампия уже лет десять состояла при князе приживалкой, он не брезговал сидеть с ней за одним столом и принимать чайные чашки из ее крохотных, будто младенческих рук.

– Что, батюшка, пригорюнился? Небось не с кем о политике поспорить? – угадала его мысли карлица, громко отхлебывая из чашки и похрустывая черствым пряником. По ее лицу невозможно было узнать возраст. Оно казалось одновременно и детским, и старческим, а было Евлампии едва ли за пятьдесят. В светлых глазах играло лукавство, порой они становились злыми и надменными. Но в то же время от шутихи исходило сердечное благодушие, которое располагало к себе даже такого холодного и замкнутого человека, каким всегда слыл Белозерский.

– С тобой, что ли, спорить? – пренебрежительно усмехнулся князь.

– А хоть бы и со мной! Нешто я на голову слаба?

– Ну и о чем же поговорим? – Белозерский подавил сытый зевок. – О Кутузове? О Барклае?..

– Нет, батюшка, Кутузова с Барклаем ты побереги для другого случая. У них и без того, должно быть, уши от стыда горят за Москву...

– Тогда, может, о Ростопчине?

На самом деле Белозерскому нравилось подзадоривать шутиху. Ее суждения смешили князя, хотя была в них доля истины, которую признавал даже он.

– О дружке твоём? О разбойнике? – возмутилась Евлампия.

– Это ты губернатора честишь разбойником?

– А кто же он еще? Герострат окаянный! – вмиг вспыхнула шутиха. – Собственной усадьбы не пожалел, спалил на зло врагу! Да еще записку написал, знай, мол, наших! Дурень, честное слово, дурень! В шуты такого губернатора! Ведь это срам, чистый срам, ведь он скорохот масленичный, ну а коли нет, так еще хуже скажу – враг он, чище хфранцуза!

– Бедный Федор Васильевич! Ох, и не поздоровится ему, коли повстречается с тобой!

Если бы князь умел смеяться, то от его смеха уже сотрясались бы окна. Но у Белозерского был особый, внутренний, смех, которым он не любил делиться ни с кем.

– Зря смеешься, батюшка. – Евлампия изумительно умела угадывать настроение князя и никогда не ошибалась, читая по его маловыразительному лицу. – Ты мне лучше вот что скажи: когда хфранцуз из Москвы уберется, где жить-то будешь? Ведь сам приказал Архипу дом на Пречистенке дотла спалить. Уголька не оставили! Шут-губернатор сдуру сделал, за ним другие дурни повторили, а...

– Мне еще ревизию устрой! Совсем распустилась! – возмутился Илья Романович. Он повел орлиным носом, поджал тонкие губы, нахмурил брови, под которыми тревожно забегали маленькие серые глазки.

– Чего уж! – не сдавалась Евлампия. – Какая ревизия, что ревизовать-то? Нешто я не знаю, что за душой у тебя ни гроша, а дом на Пречистенке был заложен?!

– Не суйся не в свое дело! – озлясь уже не на шутку, посоветовал приживалке Белозерский.

Но Евлампия тем и отличалась от прочих приближенных князя, что никогда не пасовала перед его светлостью. Не было еще случая, чтобы она сдалась, позорно оставив поле боя, не собиралась она спускать князю и сейчас.

– Да где же это не мое дело, сердечный? – с упреком вымолвила она, прямо глядя князю в глаза. На этот раз взгляд отвел он. – Вот-вот детейпустишь по миру! Не успела Наталичка, чистая душа, на тот свет отправиться, как ты опять закутил! Вот уж и дома у тебя нет! Того и гляди, последнее добришко спустишь! А детей-то после того куда деть, подумал? Не щенки ведь, дворянская кровь, под забором не бросишь. Или в приют отдашь?

– Не твоя забота! Без советчиков разберемся!

Князь в бешенстве вскочил из-за стола, бросил в сердцах салфетку на пол и быстрым шагом вышел из столовой. Евлампия только покачала головой да принялась догрызать свой пряник, благо зубы еще все были на месте.

Князь стремительно шел через анфиладу комнат, и попадавшаяся навстречу дворня в ужасе шарахалась от разгневанного барина. Не дай бог попасть под горячую руку! Но казалось, что князь никого и ничего не видит. Он немо шевелил губами, словно продолжая спорить со своей невидимой оппоненткой, и тут же яростно сжимал их. Возражать Евлампии не приходилось, карлица была права. Как всегда! «Да, да, тыщу раз права! Мне сорок уже, виски седые, а до сих пор не остепенился, не поумнел, не могу отказаться от своего порока!...»

На Илью Романовича нашла минута самобичевания. Впрочем, угрызения совести быстро улетучивались, растревоженная скупость успокаивалась, и вскоре он уже удивлялся, как мог так люто ненавидеть себя. «Ведь если посмотреть с другой стороны, – рассуждал князь, – я не только растратил состояние, но в последнее время даже в чем-то преуспел. Все еще очень ловко может устроиться...» Война и захват неприятелем Москвы пришлись весьма кстати. Заложенный дом сгорел. Его кредитор барон Гольц находится в передовых частях и вряд ли выберется из этой мясорубки. А когда все кончится, он, князь Белозерский, потребует от генерал-губернатора компенсацию за сгоревший дом. И пусть только попробует отвертеться, Герострат хренов!

Слегка успокоенный князь закрылся у себя в кабинете, уселся в старое протертое кресло, сомкнул веки. Евлампия не знает, что он натворил в доме на Пречистенке за неделю до прихода французов, ведь она все лето жила в Тихих Заводах, вместе с детьми. Илья Романович приказал своим людям снять обои со стен, вскрыть полы. Он был уверен, что в доме спрятаны деньги – Наталья Харитоновна имела небольшой капиталец и держала его в тайне от мужа. Она все эти годы собирала копеечку к копейке, но перед смертью никак не распорядилась накопленным и записки не оставила. Он даже ходил к Казимиру-ростовщику, хотя знал наверняка, что жена не доверила бы своих денег хитрой бестии поляку. Казимир так и выкатил на него бесстыжие бельма: «Я никогда не видел у себя в доме и драгоценной тени княгининой! Ясновельможная пани ничего не закладывала и денег на хранение мне не поручала...» А если поляк ему соврал? Если все же Наталья Харитоновна поручила ему хранить у себя деньги до совершеннолетия детей и держать это в строжайшем секрете? Что тогда? Нет, он не мог поверить, что жена обратилась к ростовщику. Не такого она была порядка женщина. Скорее всего, поручила их кому-нибудь из близких... Однако родню свою княгиня недолюбливала и у смертного одра, кроме Евлампии, не желала никого видеть... Евлампия! Разумеется, он пытал и ее насчет денег

Натали Харитоновны, но шутиха была сильно задета таким подозрением: «С ума ты спятил, батюшка?! Неужто я, по-твоему, могла присвоить барские деньги? Да и зачем они мне?» И то правда, денег у карлицы отродясь не водилось, и была она к ним совершенно равнодушна.

В доме ничего не нашли, и тогда князь приказал Архипу, своему старому слуге, сжечь особняк, когда придут французы. Откуда об этом узнала карлица? Кто-то из дворни проговорился, не иначе. «Сколько холопа ни пори, настоящего страха не добьешься, – вздохнул Илья Романович. – Жена-покойница напрасно попрекала меня жестокостью, я еще слишком мягок с этими скотами! Не зарежут, так ограбят, не ограбят, так всю твою подноготную перед чужими вывернут. Опозорят и рады! Нет, их надо бы...»

Его мысли прервал шум во дворе. Князь выглянул в окно, увидел толпившихся мужиков и Евлампия, тершующая меж ними. Мужики о чем-то спорили, размахивая руками, а шутиха пыталась их утихомирить.

– Чего надо? – крикнул князь из окна, и все разом умолкли.

– Тут такое дело, – начал один, тот, что был постарше да поосанистей, – у старосты объявились пришлые люди...

– Что за люди? Говори толком!

– Да шут их знает! – развязно пожал плечами совсем еще молодой крестьянин, в шапке, залихватски сдвинутой на затылок. – Попросились на ночлег, а староста у нас добрый. Приютил.

– Вот мы и пришли к тебе, батюшка, донести. Кабы чего не вышло... Этакое-то времячко... – вмешался в разговор третий, заскорузлый, убогий мужичонка.

– Как выглядят, во что одеты? – продолжал допрос барин.

– Вроде шинели на них солдатские, – снова заговорил первый, – а на солдат не похожи.

– Дюже заросшие оне, – вставил молодой и показал рукой, какие у пришлых людей бороды. – Ну, лешие!

– Дезертиры! – мигом сообразил Илья Романович.

После того как отдали французу Москву, настроения в русской армии были самые упадочные, и счет дезертирам шел уже не на сотни, а на тысячи. Они сколачивались в банды, бродили по деревням, грабили, убивали, насиловали женщин. То, чего еще не успели получить крестьяне от иноземцев, получали от своих соотечественников, растерявших последние остатки человечности и озверевших хуже волков.

– Что это ты задумал, батюшка? – насторожилась Евлампия, потому что лицо Белозерского в этот миг сделалось хищным, в глазах блеснули дикие огоньки.

– А что тут думать? – брюзгливо бросил он. – Не целоваться же с ними! Если этих отпустить, они приведут за собой сотню таких же разбойников. И тогда мы разорены...

Он приказал мужикам вооружиться топорами и вилами, взял в помощь дворовых людей. Также был мобилизован пес Измаилка, лютой дворняжьей породы, порвавший немало крестьянских икр и штанов. По такому случаю Белозерский даже снял со стены давно не востребованное охотничье ружье, подаренное ему в отрочестве на именины и каким-то чудом до сих пор не проигранное в карты.

Во главе небольшой карательной экспедиции Белозерский отправился к дому старосты. Подойдя, князь поставил у каждого окна по мужику, а с двумя оставшимися вошел в избу. Он попал в самый разгар вечеринки. Старостиха как раз потчевала непрошенных гостей, а те, с упоением чавкая и облизывая жирные от вареной баранины пальцы, рассказывали хозяину об ужасах солдатской жизни: «Особливо, когда на тебе прёт исполин...»

Илья Романович решительно вошел в комнату, свет угасающей лучины бросал зловещие тени на его лицо. Старостиха вздрогнула и с неудовольствием отвернулась к печке. Даже по ее широкой спине можно было прочесть досаду на «идола», который прервал интересную беседу.

– Кто такие будете? – строго поинтересовался князь.

– Пришлые люди, барин, – бойко ответил за гостей староста, вообще не лезший за словом в карман. – Говорят, воевали под Бородином...

Не успел он закончить, как один из «пришлых людей» выхватил из-за пазухи нож и бросился на Белозерского. Плохо бы пришлось князю, если бы не мужик, стоявший за его спиной. Он вовремя подоспел и выставил вперед вилы. Остро заточенные зубья вошли чужаку прямо в живот. Тот зарычал по-звериному и бухнулся без чувств на пол. Второй стремглав бросился в окно, но там его поджидали вилы заскорузлого мужичонки, что приходил с доносом к барину. Однако разбойник каким-то образом от вил увернулся и всадил мужичонке нож. Тот успел лишь издать предсмертный хрип и, прошептав: «Мама родная!» – пал замертво. А разбойник, не тратя времени понапрасну, пустился бежать.

– Догнать! – что есть мочи заорал Илья Романович.

Староста закричал жене, чтобы увела детей, выглядывавших из разных углов и с интересом наблюдавших, как корчится в муках гость, который только что мирно ужинал за их столом. Не успела перепуганная женщина исполнить мужнин приказ, как Белозерский вскинул ружье и прострелил умирающему чужаку голову.

Травля бежавшего закончилась на болоте. Вся деревня ополчилась против разбойника. Люди шли по пояс в тумане, который поднимался от мутных вод плотной, густой массой. Зажженные факелы не улучшали видимости. Злоумышленник навсегда бы сгинул в этом ночном киселе, если бы не собаки. Крестьяне спустили с цепей всех своих псов, но проворнее других оказался Измаилка. Он-то и настиг в болотной жиже беглеца, перепрыгивающего с кочки на кочку. Тот попробовал было отбиться ножом, но изворотливый умный пес вцепился ему в руку так, что онемевшие пальцы выронили нож в трясину. Подоспевшие собаки начали рвать на чужаке одежду, прихватывая и тело. Князю это кровавое зрелище доставило огромное удовольствие.

– Так его, так! – кричал он в запале, соскучившись по настоящей охоте. – Кишки ему выгрызай!

Но вдруг в голове у Ильи Романовича промелькнула шальная мысль: «А ловким, однако, оказался негодяй! Такой бы мне пригодился на службе...»

– А ну, прибрали все своих собак, пока не перестрелял! – крикнул он мужикам. – Я говорить с разбойником желаю.

Несмотря на длинную черную бороду, живые, горящие глаза чужака выдавали в нем молодого человека лет двадцати двух. Он предстал пред князем в окровавленной, разорванной одежде, но при этом злой, острый взгляд его как бы обещал: «Сегодня ты на коне, а завтра я!»

– Как звать? – отрывисто спросил Белозерский.

– Илларионом.

– Чьих будешь?

– Я – вольный человек, – не без гордости заявил тот и с презрением посмотрел на крестьян.

Князь усмехнулся, заметив, как мужики ежатся под тяжелым наглым взглядом чужака.

– А что, Илларион, пойдешь ко мне на службу?

Предложение было столь неожиданным, что в рядах крестьян раздался изумленный ропот. Но еще более странной была реакция разбойника. Его как будто надломили. Он упал перед князем на колени, схватил его руку и прижался к ней губами.

– Спаси от псов своих окаянных, – заговорил он с горячностью, – а я за тебя в огонь и в воду!

Глаза Иллариона закатились, и он, потеряв сознание, упал в болотную жижу.

– Отнести его в усадьбу! – приказал Илья Романович мужикам. – И послать за фельдшером!

– Да как же так, барин? – возмутился молодой крестьянин. – Этот лиходей зарезал Демьяна, а ты его лечить будешь?

– У меня стало одним человеком меньше, это мне в убыток, – резонно заметил князь, зная по опыту, что простые хозяйственные доводы сильно действуют на мужиков. – А кто убыток причинил, тот и отвечать должен. Так вот пускай этот парень и заменит Демьяна.

Однако на этом приключение не закончилось. Князь велел принести из дома старосты вещи разбойника. В дорожных мешках были обнаружены съестные припасы: хлеб, сало, копченое мясо. Белозерский великодушно разрешил мужикам поделить меж собой провизию. Потом ему показали две солдатские шинели, сильно изношенные, утыканые разноцветными заплатами, словно скоморошьи кафтаны. Князь было махнул рукой, а потом вдруг крикнул старосте:

– Пстой-ка! Не уноси!

Ему послышалось, будто что-то звякнуло внутри этогохлама, да и заплат было подозрительно много. Он рванул одну из них – выпал пятак. Рванул другую – покатился рубль. Глаза Ильи Романовича загорелись азартом, так бывало, когда он шел ва-банк за карточным столом. Мужики только ахали, наблюдая за ловкими руками барина. Каждая заплата имела свою ценность, всего набралось рублей пятьдесят. Все заплаты уже были надорваны. Белозерский недовольно повел носом, словно хотел вынюхать что-то еще, более существенное. Он стал с жадностью ощупывать сукно. Ничего больше не обнаружив, с остервенением швырнул шинель мужикам и принялся за вторую. Князь в этот миг напоминал пса, взявшего след. За подкладкой второй шинели он нащупал какой-то предмет.

– Дайте нож! – закричал он не своим голосом.

Ему подали. Он надрезал подкладку и разорвал ее. Под ней лежала миниатюрная табакерка из чистого золота. На крышке красовался чей-то родовой герб в виде филина, держащего в когтях змею. Такие табакерки вошли в моду при императрице Елизавете Петровне, запретившей курение во дворце и приучившей царедворцев нюхать табак, а посему этой вещице было никак не менее пятидесяти лет.

Отпустив мужиков, Илья Романович вновь уединился в кабинете, уже совсем в ином настроении. Он нежно гладил свою драгоценную находку, и от этого на душе у него воцарялся мир и покой. На рассвете за окнами кабинета внезапно повалил крупными хлопьями снег, совсем по-зимнему, а ведь октябрь только-только начался. Старики обещали, что зима будет лютой.

А в Москве шел проливной дождь, тот самый благодатный дождь, который не позволил взорваться пороховым бочкам под стенами Кремля. Французы уходили... Всего тридцать шесть дней они пребывали в древней столице, и за это время Великая армия превратилась в неуправляемое стадо пьяниц и мародеров. Войско таяло от болезней, голода и бесконечных вылазок русских партизан. За тридцать шесть дней стояния в Москве было потеряно около тридцати тысяч солдат и офицеров, как во время кровопролитной битвы. Наполеон ждал послов от русского царя для заключения мира, но так и не дождался. Как ни уговаривали Александра Павловича мать Мария Федоровна, брат Константин и многочисленные царедворцы склонить голову перед неприятелем, император был непреклонен. Он готов отступить на Камчатку и стать императором камчадалов, но миру с Бонапартом не бывать!

Обозы покидали древнюю столицу. Разношерстная, многоязычная толпа напоминала какой-то бесовский маскарад. Здесь можно было встретить испанского пехотинца в украинских шароварах, португальского кавалериста в китайских шелковых одеждах или венгерского гусара в чалме и полосатом халате поверх знаменитой венгерки. Все эти дикийные наряды были найдены после пожара в подземных складах Китай-города, разворованы и с восторгом надеты в день исхода из «адского пекла». За обозами неотступно следовали ростовщики-евреи, скупавшие у Великой армии награбленное добро, лишнее в дороге. За ростовщиками украд-

кой передвигались крестьяне, с топорами за пазухой. Они грабили евреев и отставшие обозы, беспощадно расправляясь и с теми, и с другими.

На Тверскую на взмыленных конях ворвался эскадрон под командованием полковника Александра Бенкендорфа. Разведка докладывала, что Москва полностью очищена от неприятеля, но у губернаторского дома он наткнулся на польский обоз. Поляки встретили эскадрон бранью, схватились за сабли. Стычки с поляками, как правило, не знали компромиссов. Тут же завязалась драка. Двадцатидевятилетний полковник участвовал и не в таких баталиях. Как-никак с пятнадцати лет в седле, воевал с турками на Балканах, с персами – в Армении, дрался с осетинами и лезгинами высоко в горах, где выживали немногие, только самые отчаянные. Стального цвета глаза Бенкендорфа горели диким огнем. Он рычал и скрежетал зубами во время сечи, что больше подстать казакам, а не остзейскому дворянину.

Тут подоспел отряд князя Сергея Волконского, и поляки в несколько минут были порублены. На отбитых у противника телегах стояли ящики с вином «Шато Марго» из наполеоновских погребов.

– Выпьем, Серж, за нашу победу! – предложил Бенкендорф.

Относилось ли это к только что произошедшей баталии или к всеобщей победе над Бонапартом, до которой было еще так далеко? Как бы то ни было, в голосе его звучала уверенность победителя, и к тому же он хотел поддержать боевого товарища, еще не привыкшего к ужасам, увиденным в Москве.

Не слезая с коней, они отбили саблями горлышки у бутылок и залпом выпили вина. По руке Бенкендорфа текла кровь – то ли порезался стеклом, то ли был ранен. Он не обращал внимания на такую мелочь. Глупо думать о царапине, когда вокруг тебя выжженный город, с трупами, болтающимися на фонарях.

– В Кремль! – крикнул полковник.

– В Кремль! – поддержал князь Сергей, и оба отряда пустились вскачь.

То, что они увидели, лишило обоих дара речи, а у партизан исторгло яростные вздохи. В Кремле валялись груды мусора, трупы лошадей. Под куполом Ивана Великого был вырублен огромный пролом, чтобы корсиканец мог со всеми удобствами созерцать оттуда московские красоты. Архангельский собор оказался по щиколотку залит прокисшим, вонючим вином.

– Варвары! Варвары! – Волконский в бессильном гневе бил себя кулаком по бедру. – Ничего святого нет у этих людей!

– Они не люди, Серж.

Александр старался держать себя в руках, потому что его боевой товарищ уже был на пределе душевных сил. Из светлых, еще наивных глаз князя Сергея брызнули слезы. Бенкендорф обнял его за плечи и сказал тихо, чтобы не услышали партизаны:

– Не надо, Серж. Солдаты не должны видеть слез своего командира.

Прискакал молоденький казачок с донесением. В Спасских казармах обнаружены раненые, среди них есть русские. Князь уже пришел в себя, вытер слезы.

– Ну что, брат Волконский, – подмигнул ему Александр, – пора за дело! Поставь здесь караулы! Пусть пока никого не пускают в Кремль!

– Да, да, ты прав, Алекс, – горячо поддержал его князь. – Православные не должны это видеть.

– А заодно прикажи саперам убрать пороховые бочки и поискать мины...

В другое время Волконский, пожалуй, рассердился бы на Бенкендорфа. Тот не был старшим по званию, чтобы приказывать, но князь настолько растерялся, что явно нуждался в руководстве.

В Спасских казармах французы устроили госпиталь. Здесь стояло невыносимое зловоние, от которого у Бенкендорфа закружилась голова. Раненые лежали вперемешку с давнишними трупами. Мольбы о помощи раздавались на всех европейских языках. Русские солдаты,

оставленные Кутузовым на милость врага и каким-то чудом уцелевшие, встретили партизан радостно: «Наши пришли!», но слышалось что-то потустороннее в их слабых возгласах.

Полковник велел первым делом вынести мертвых, но это оказалось непосильной задачей. У почти разложившихся трупов при малейшем сотрясении отваливались ноги, руки, головы. Вонь усилилась. Повидавшие многое за время войны, партизаны не выдерживали, падали в обморок, их выворачивало наизнанку. Сам Александр едва держался на ногах, то и дело прикладывая к носу платок. Душевная мука отобразилась на его лице. «Солдаты не должны видеть слез своего командира», – стучало у него в висках. Да и времени на сантименты не было. Он разбил своих людей на бригады, одних отправил искать подводы, крестьянские телеги, мобилизовывать любой транспорт, что подвернется под руку. Другим приказал выносить раненых, третьим – трупы. Решения принимал молниеносно и требовал немедленного исполнения. Понимая, что город обезлошадел, велел запрягать в подводы партизанских лошадей.

– Раненых перевозить в Петровский дворец!

– Так ведь он почти сгорел...

– Выполнять!!!

На его лице снова появился звериный оскал, каким он был во время сечи с поляками.

– Что прикажете делать с трупами, господин полковник?!

– Везти к реке! Там жечь! Пепел сбрасывать в воду...

Он чувствовал, что одежда на нем насквозь промокла. Дождь лил не переставая, от холода била предательская дрожь.

– Александр Христофорыч, – по-отечески обратился к нему седоусый офицер, старый екатерининский вояка, – не стояли б вы под дождем. Далеко ли до беды? Вон как вас уже пробирает. Шли бы лучше в церковь, погрелись, мы тут сами управимся.

Кроме одинокой, почерневшей от пожара церквушки рядом не было ничего. Выжженная улица напоминала кладбище с остовами печей вместо надгробных памятников. Он послушался старого офицера и поднялся по разбитым ступеням храма. Дверь висела на одной петле и жалобно стонала под порывами ветра. Несмотря на это, воздух в церкви оказался спертый, отдававшим тухлым мясом. Бенкендорфы, верой и правдой служившие при русском дворе, оставались верны лютеранской церкви. Его мудрый учитель аббат Николя, иезуит, любил повторять: «Бог для всех един. Это люди придумали конфессии и никак не могут между собой договориться».

Волконский сказал, что православным нельзя это видеть, но и ему, лютеранину, стало не по себе: стены с божественными ликами измазаны кровью и калом, а на алтаре лежит, разинув пасть, лошадиная голова, застывшая в предсмертном истошном ржании. На полу видны следы от костра, повсюду разбросаны обглоданные кости. Оккупанты резали здесь лошадей, здесь же жарили и ели.

– Варвары! – вырвалось теперь из груди Александра. – У них нет Бога! Никакого Бога!

В тот же миг он представил прелестное личико толстушки Марго, слышал ее залиvistый смех, ее ласковое французское щебетание: «Мой милый маршал, когда вы научите меня стрелять?» Она в шутку звала его маршалом, и Александру это льстило. Он был тогда всего лишь флигель-адъютантом русского консула в Париже. «А вот когда вы приедете ко мне, в Россию, тогда и научу», – с заносчивой любезностью ответил он. Надув губки, Марго лениво и грациозно махнула надушенной ручкой и заявила, томно растягивая слова: «У вас так холодно, и медведи... Брр! Не поеду, даже если будете на коленях просить!» Она казалась избалованным ребенком, «маршал» вставал перед ней на колени, целовал ее детские ручки, а Марго смеялась и игриво ворошила ему волосы.

Не верится, что это было совсем недавно, три года назад. Париж был так близок его сердцу, французы вовсе не казались чужими, а тем паче варварами, и говорили они на языке, к которому он привык с детства. Александр увидел Марго на сцене Комеди Франсез в пьесе

Мольера и сразу почувствовал, как земля уплывает у него из-под ног. Ему всегда нравились актрисы, а если они к тому же были пышногрудыми, то сердце его начинало биться в два раза сильнее.

– Признайся, брат Бенкендорф, ты по уши влюблен! – подтрунивал над ним Чернышев, царский посланник в Париже, занимавшийся контршпионажем. От него, профессионального разведчика, трудно было что-то утаить. Чернышев сразу же подсчитал в уме все выгоды, какие можно извлечь из этого романа. Дело в том, что Марго, которую вся Европа знала, как мадемуазель Жорж, была любовницей императора Бонапарта. Как разозлится корсиканец, если Марго тайно уедет из Франции с русским флигель-адъютантом! К тому же неплохо было бы подсунуть парижскую красотку императору Александру, вместо этой навязчивой, наглой польки Нарышкиной-Четвертинской, чье влияние на государя становилось все более ощутимым.

– Да, мой проницательный Чернышев, стрела Амура не пощадила моего каменного сердца! – рассмеялся Бенкендорф, и невинная фраза решила все.

Втайне от него царский посланник встречался с мадемуазель Жорж в Булонском лесу и уговаривал ее ехать в Россию. Он обещал расположение Государя императора, а главное, успех и постоянный ангажемент на петербургской сцене. Расчетливая тщеславная Марго сдалась.

Вывезти актрису из Франции помогли агенты Чернышева. Александр поселился с ней в своей квартире на Мойке, но роман продолжался недолго. Любовники не были властны над собственной судьбой, все уже рассчитали и решили за них. «Маршал» отправился на Балканы воевать с турками, а мадемуазель Жорж, его «толстущечка» с маленькими надушенными ручками, приводившими Бенкендорфа в трепет, предалась утехам с Государем императором.

Перед самой войной на балу в Петергофе Бенкендорф встретил Чернышева. Тот был, как всегда, ярко напомажен и нарумянен, что вызывало неприятие и даже отвращение. Вспоминая о парижской жизни, царский посланник вскользь заметил:

– А кстати, твоя Марго оказалась прелюбопытной штучкой.

– Что это значит? – не понял Бенкендорф.

– Что значит? – усмехнулся в черные усы Чернышев и лукаво подмигнул новоиспеченному полковнику. – Прикидывалась дурочкой, мол, надоел Париж, а Бонапарт в постели холоднее трупа. Говорила она тебе это?

– Ну? – все еще не понимал Александр, к чему тот клонит.

– Эта парижская кокотка обвела нас вокруг пальца, Алекс! – почти с восхищением произнес никогда неунывающий Чернышев. – Тут был тонкий расчет. Я думал, что дергаю ее за ниточки, а нет, это меня, оказывается, подвесили и дергали, за что хотели!

– Марго – шпионка? – дошло наконец до Бенкендорфа. На его лице отразилась такая забавная растерянность, что Чернышев не выдержал и по обыкновению громко рассмеялся.

– В другой раз мы с тобой будем разборчивей с кокотками, брат Бенкендорф!

Александр не разделял этого веселья. Его обдало холодом, будто он погрузился в ледяную прорубь.

– Другого раза может не быть, – тихо процедил сквозь зубы Бенкендорф, резко развернулся и пошел прочь. Смех у него за спиной тотчас прекратился.

Марго часто снилась ему во время войны, и он без конца повторял ей все ту же любезную фразу: «А вот когда вы приедете ко мне, в Россию...» Он выскакивал из сна, как из ледяной проруби, целовал нагрудный крест и шептал слова молитвы...

В разворванной, оскверненной церкви Александру сделалось нехорошо, и он поспешил на свежий воздух.

Работа в Спасских казармах кипела. К солдатам, несмотря на проливной дождь, присоединились изможденные от голода, уцелевшие москвичи. В основном это были ремесленники, мещане, слуги из сгоревших особняков. Они несли с собой палки, холстину, веревки, сооружали самодельные носилки.

Между тем от гонцов, разосланных по городу, поступали новые сведения. Магазин мадам Обер-Шальме, что на Кузнецком мосту, стоит нетронутый и полон разнообразного товара. А это, как всем известно, самый богатый магазин в Москве. Бенкендорф немедленно приказывает опечатать окна и двери и выставить надежный караул, чтобы ни одна душа не проникла внутрь. Вернется генерал-губернатор из Владимира, сам решит, что делать с товаром.

Когда Спасские казармы опустели, партизаны развели костры, стали готовить пищу. Дождь постепенно утихал. Уставшие, обессиленные люди валились с ног. Нужен был отдых, а потом предстояло еще окурить казармы конским навозом, чтобы не распространилась зараза. Солдаты делились едой с москвичами. Те и другие сидели молча вокруг костров, даже на разговоры не было сил. Полковник, глядя на них, мечтал, как назло Бонапарту, думавшему стереть древний город с лица земли, Москва скоро поднимется и станет еще краше, чем до войны. Не в первый раз горит... Его мысли прервал князь Волконский, прискакавший со своими людьми.

– Алекс, собирайся! Я присмотрел для тебя очаровательный домик на Страстном бульваре.

– Для меня? – удивился Александр.

– Так ты еще ничего не знаешь, любезный Бенкендорф? – ласково улыбнулся ему Волконский. – Тебя назначили комендантом Москвы. Вот приказ. – И протянул бумагу, где по пунктам перечислялись мероприятия, которые комендант должен был осуществить в ближайшее время. Их хватило бы на два года, но Бенкендорфу отводилось не больше месяца.

– Ну тогда показывай свой очаровательный домик! – спрятав бумагу за пазуху, бодрым голосом сказал Александр и лихо, по-гусарски, запрыгнул на коня. Казалось, этому человеку был нипочем прошедший тяжелый день.

Еще несколько недель трупы людей и лошадей, разбросанные по всему городу, свозились к Москве-реке. Здесь их жгли, а пепел сбрасывали в реку. Вовремя принятые меры не дали развиваться эпидемии. С помощью драгунских патрулей в городе был установлен строжайший порядок, любые вылазки мародеров и бандитов пресекались на месте. Москвичи начали возвращаться в столицу из близлежащих деревень. Москва постепенно оживала.

Глава третья

Князь Белозерский с достоинством встречает перемену своей судьбы и заключает сделку с ростовщиком. – Раздоры в благонаправном семействе. Родительская любовь и сервис на двести персон

Прирученный разбойник, назвавшийся Илларионом, быстро шел на поправку. Уже через неделю после описанных событий он поднялся с постели и тотчас приступил к своим новым обязанностям. Вскоре князь убедился, что может всласть отсыпаться до поздних петухов, ни о чем не тревожась. Илларион люто, придирчиво следил за дворней и никому не давал поблажки. «Лешего мы принесли с болота, не иначе», – плевались дворовые, однако безропотно сносили ругань и побои управляющего, ходили перед ним на цыпочках, прятались от окаянного новичка по углам. «Стало быть, разбойника вам и надо было, – умилялся Илья Романович, – чтобы баклуши не били да берегли барское добро! Я-то с вами нежничал, да разве такие скоты что-то понимают?!» Евлампия, напротив, была крайне недовольна новым человеком князя. «Ишь, чего учудил, – ворчала шутиха, – разбойника приютит! Волка из лесу притащил! О детях-то не подумал! Теперь и спать страшно – а ну, возьмется за нож, зарежет во сне! Волки, они тоже в голодуху к людскому жилью сбегаются, только не за добром, ох, нет...»

Находя, что вольному человеку неприлично ходить с бородой, как мужику, князь приказал Иллариону побриться. После преображения выяснилось, что тот очень хорош собой. Особенно красили его смуглое лицо большие, круглые, угольно-черные глаза, при всей своей красоте, однако, начисто лишённые выражения и совершенно непроницаемые. Природа наградила Иллариона броской внешностью героя романтических поэм, но этот стройный, высокий красавец проявлял к людям столько жестокосердия и отчаянной ненависти, что ни единая девка на него не заглядывалась. Избавившись от лесного обличья, управляющий почувствовал себя окрыленным и, расправив широкие плечи, с еще большим воодушевлением принялся драть шкуру с холопов.

Шло время, в Тихие Заводы упорно просачивались слухи о том, что Бонапарт раздумал идти на Петербург и вроде бы уже покинул Первопрестольную. В это с трудом верилось засевающим по своим имениям помещикам, уж больно лихо начинал корсиканец свой поход. Слухам Белозерский не доверял несколько, недовольно крутил орлиным носом, отплеывался и ворчал: «Еще, пожалуй, выдумают, что Кутузов взял Париж, а царь-батюшка в магометяне подался, к турку! Всему будешь верить – дураком прослынешь».

Однако слухи вскоре облеклись в плоть и кровь, сломив недоверчивость осторожного князя. В самом конце октября, когда уже совсем установился санный путь, снова донесли, что в доме у старосты пришлый человек. На этот раз князь не стал вооружать дворню. Он даже не снял со стены ружья, и пес Измаилка остался сидеть на цепи, с обидой поскуливая и скучая по работе. Он взял с собой только Иллариона и гордо прошествовал с ним мимо дворовых людей и удивленной Евлампии. Шутиха ничего не смогла вымолвить, только всплеснула руками и вместо благословения плюнула вслед.

Перед домом старосты Илларион грубовато-фамильярно предупредил:

– Ты, барин, не лезь на рожон, а то в прошлый раз друг мой Федька тебя едва не зарезал.

Предоставь уж мне...

Князь хитро прищурил глаз и не без удовольствия, с подначкой заметил:

– Что ж, вот и поглядим, какой из тебя управляющий!

– Да уж не подведу, будьте уверены! – подыгрывая барину, заверил тот.

Илья Романович был доволен, что так быстро приручил разбойника и сумел заставить себе служить. «С этим малым я горы сверну!» – радовался он про себя.

Когда вошли в избу, князь шепнул:

– Я в сенях затаюсь, а ты действуй...

Пришлый человек сидел за столом, спиной к сеням, и вел негромкий разговор с хозяином дома, так что ни князю, ни Иллариону ничего не было слышно. Гость выглядел шуплым, суховатым, по согбенной спине было видно, что он уже не молод.

Илларион решительно вошел в комнату.

– Господи, помилуй! – при виде его в страхе перекрестился староста.

Незнакомец только хотел повернуть голову, но Илларион опередил его, схватив за шиворот. В следующее мгновение он вытащил шуплого человечка из-за стола и со всей силы швырнул в угол, так что у того затрещали кости.

– Разбойники! Караул! – завопил человечек, прикрывая руками голову и по-куриному втягивая ее в плечи.

Новоиспеченный управляющий занес уже кулак над головой несчастного, но вовремя подоспевший князь перехватил его руку. В незнакомце он узнал своего старого слугу.

– Архип? Ты зачем здесь? Я велел ждать в Москве...

– Смилуйся, батюшка! – бросился тот на колени перед хозяином и заплакал. – Я приехал не по своей воле, послали меня люди, о благе твоём радеющие...

Князь искренне удивился, услышав подобное, потому как давно не встречал людей, радевших о его благе, и из их числа мог припомнить только покойных родителей да еще троюродную тетку Пронину.

Архип бежал из Москвы сразу после французов. Полдороги прошел пешком по лесам и болотам, кишашим диким зверьем и, того хуже, разбойниками и дезертирами. Изредка передвигался на крестьянских телегах, кормился и ночевал ради Христа. Рассказывая о своей одиссее, Архип то и дело обращался к иконам и усердно крестился. Старостиха, жалостливо подпершись кулаком, вздыхала, староста любопытно раззявил рот. Даже Илларион разжал кулаки, а князь, напустивший было на себя строгость, быстро смягчился и оттаял.

Вот что поведал старик.

Когда пожар в Москве догорал и Архип уже приспособился к житью в землянке, которую вырыл для себя заблаговременно, как-то поутру прибежал незнакомый вихрастый мальчишка. На голове у гостя красовалась наполеоновская треуголка, а в руке яблоко, которое он с хрустом откусывал и с чавканьем жевал. Увидав остов сгоревшего барского дома, мальчуган присвистнул, но особого удивления не выказал и тут же продолжил свой спартанский завтрак.

– Тебе чего? – недружелюбно спросил Архип, вылезая из землянки. Он заподозрил в госте вора.

– Да мне бы князя, – глазом не моргнув, ответил парень.

– Так-таки князя? Какого же?

– А Белозерского...

Гость деловито надвинул шляпу на самые брови, метнул в лужу огрызок яблока, вытер руки о штаны и громко шмыгнул носом, всем своим видом показывая, что полностью готов предстать перед его сиятельством.

– Для чего ж тебе понадобился князь? – продолжал допрос старый слуга.

– Да здесь он или нет, скажи толком? – потерял терпение гонец. – Не за тобой пришел, мне его самого надо! По важному делу!

– Князь у себя в имении, – ответил наконец Архип. – Где же ему еще быть.

Ответ сильно озадачил мальчишку. Сняв шляпу, он ожесточенно поскреб серые от грязи волосы, больше похожие на паклю, и нерешительно спросил:

– А далече имение-то?

– Да ты никак в гости к нему собрался? – усмехнулся Архип.

– Тут такое дело, дядя... – Парень посерьезнел и заговорил совсем по-взрослому: – Родственники его, Мещерские, все как один померли... Ну, сгорели, стало быть...

В особняке Шуваловых, куда привел Архипа мальчуган, разместился какой-то французский начальник. Дворецкий графини, Макар Силыч, грузный мужчина с отечным лицом, украшенным бородавками, принял старого слугу на кухне. Его сытно накормили, несмотря на то что Москва уже начала голодать и взять продовольствие было неоткуда.

– Хозяйка моя, графиня Прасковья Игнатьевна, женщина припасливая, – пояснил с лукавой улыбкой Макар Силыч и тут же добавил: – Да и я не промах. Удивляешься небось, как мы уцелели, когда вокруг все выгорело?

– Чудо! – развел руками Архип.

– А никакого чуда нет! – самодовольно хохотнул шуваловский слуга. – Хозяйка, уезжая, наказала так: «Сторожи имущество, не то шкуру спущу!» Ну а собственная шкура кому не дорога? – Он подмигнул старику. – Как начали вывозить из города пожарные трубы, так я сразу смекнул, что к чему. Сговорился с одним шустрым офицериком и выменял у него аж четыре трубы!

«Что же это? – возмущался про себя Архип. – Дом, значит, сохранил для француза да еще кормит врага барскими припасами?» Кусок ему встал поперек горла, захотелось встать и уйти. Но пришел-то он сюда по делу. По очень важному делу. Если все Мещерские погибли, тогда его барин станет наследником огромного состояния, нескольких имений и множества душ крестьян. Нет, лаптем его не назовешь! Он хоть и стар уже, а понимает, что к чему. И мальчонку послали за князем не случайно.

Между тем Макар Силыч перешел к рассказу о страшной ночи пожара. Он весь день ждал французов, но они, видать, были напуганы пожаром Китай-города и предпочли для расквартирования более безопасные места. Когда уже прикорнул в господском кресле перед камином, вездесущий парнишка разбудил его криком: «Мещерские горят!» Дворецкий созвал слуг, взяли трубы, насосы и побежали на двор к Мещерским тушить огонь. Главное здание уже вовсю занялось. Ветер дул в сторону реки, поэтому флигель, примыкавший к шуваловским постройкам, оказался еще нетронутым. Бог, как говорится, миловал, ведь в этом флигеле у Мещерских располагалась библиотека, она могла вспыхнуть в одну минуту, и тогда бы пожарные трубы не помогли. Пламя изнутри уже подобралось к флигелю и лизало его толстые каменные стены. Медлить было нельзя. Макар Силыч приказал отрезать огонь от флигеля, и струи воды прицельно ударили в лопнувшие окна главного здания, соседствующего с библиотекой. Дворецкий бегал по двору и деятельно руководил людьми, перебрасывая их с одного участка на другой. В конце концов от усердия он сорвал голос. К утру пожар все же потушили, сохранив библиотеку, а также часть гостевого флигеля.

– Пожар – дело понятное, – продолжал свой рассказ Макар Силыч, – к утру уже вся Москва пылала. Но ты объясни мне, старик, откуда на дворе у Мещерских столько трупов?

– Дворовые люди сгорели, – прикинул Архип.

– Если бы! – вскинул палец вверх дворецкий и вдруг перешел на шепот: – Из дворовых там был только ихний конюх Михеич. А остальные восемь – французы!

– Да ну? – раскрыл рот старик.

– Вот тебе «ну»! И все, как один, пулями прострелены, а у конюха, кроме топора, никакого оружия.

– Может, в доме кто стрелял?

– В доме лежали три обгоревших тела. Сам граф и две женщины – графиня с дочерью. Так что, выходит, в одночасье не стало семьи.

Слуги выпили за упокой господ крепкой вишневым наливки, и Макар Силыч продолжил не без хвастовства, явно гордясь своей предприимчивостью:

– Французов мы тайком снесли к реке и там сожгли от греха подальше, а графа и графиню с дочерью похоронили в Новодевичьем. Отпевал простой монах, ну да и на том спасибо...

Наливка ударила в голову старику, он уже плохо соображал и только слышал сквозь дрему, как пьяный дворецкий рассуждает сам с собой:

– У графа из родни никого, а у графини – брат. Твой хозяин, князь Белозерский. Выходит, ему все достанется...

Глаза князя загорелись диким огнем. Он не дал Архипу договорить, вскочил со стула, будто с раскаленной сковороды, и отрезал:

– Хватит болтать!

Архип застыл с открытым ртом, даже позабыл встать перед барином. Илья Романович обвел испытующим взглядом всех присутствующих, так что люди поежились, словно от сквозняка. Его взгляд недвусмысленно говорил: «Забудьте, что слышали, а не то...» Илларион, скрививший губы в усмешке, в этот миг был точным отражением хозяина. «... а не то души из вас выну!» – обещал его горящий разбойничий взгляд.

– Засиделись мы, Прокоп, – хрипло произнес Илья Романович. – Пора и честь знать. – И вышел вон, за ним черной тенью следовал Илларион.

К усадьбе шли молча, быстрым шагом, и каждый напряженно размышлял о своем. «Помнишь, как вздумала меня уму-разуму учить, Антонина Романовна? – продолжал Белозерский стародавний спор с сестрой. – Что же ты, голубушка, от большого ума дуру сваяла? И себя, и дитя свое погубила! Ну тебя ли мне было слушать?!» – «Ишь, как обернулось! – ликовал Илларион. – Служить у богатого куда веселей!»

За ними, порядочно отставая, плелся измученный старый слуга и размышлял о том, что отжил он свой век, теперь возле князя вьется приبلудный черный пес, который не даст никому приблизиться к хозяину, того и гляди, перекусит глотку. Горько было то, что за свои старания и мытарства Архип рассчитывал получить хоть полтинник, а кроме свирепого окрика князя так и не был ничем награжден.

Ночью в усадьбе никто не спал, Тихие Заводы гудели, как разоренное осиное гнездо: князь спешно готовился к отъезду.

Федор Васильевич Ростопчин, напротив, не торопился возвращаться в погорелую Москву. Когда ему доложили, что комендантом города назначен полковник Бенкендорф, он поначалу обрадовался. Как-никак с его отцом, Христофором Ивановичем, вместе служили государю Павлу, остались ему верны до конца, потому и впали в немилость у его сына, императора Александра.

– Погляди-ка, матушка, Бенкендорфы опять идут в гору, – радостно сообщил он своей супруге Екатерине Петровне, пытаясь втянуть ее в разговор. – Свои люди... Нам это кстати!

Однако та и бровью не повела в ответ на заявление мужа. Екатерина Петровна, с тех пор как Ростопчины приехали во Владимир, постоянно молчала, бродила по наспех устроенным комнатам сама не своя, и это пугало графа. Жена замкнулась в себе, а если и обращала взгляд на мужа, то он был таким угрюмым и так мало было в нем супружеской нежности, что тот только ежился, будто ему за ворот вылили кружку ледяной воды.

Супруги Ростопчины представляли удивительное зрелище, особенно находясь вместе. Человека неподготовленного неизменно разбирал смех при первом взгляде на эту чету, похожую на иллюстрацию к какой-то лафонтеновской басне. Граф был похож на обезьяну – выпученными глазами, приплюснутым носом, вечно взъерошенными волосами, очень подвижный, юркий, несмотря на высокий рост. Графиня же напоминала лошадь. Костистая, худая, лицо вытянутое, глаза навывкате, огромный рот с крупными желтоватыми зубами, нос, будто скопированный с причудливой венецианской маски, и уши в полтора вершка размером. Таких урод-

ливых ушей, по общему мнению, во всей Москве не сыщешь. Екатерина Петровна, урожденная графиня Протасова, воспитанная при дворе Екатерины Великой, плохо понимала по-русски. Поэтому в доме говорили в основном на французском, что не совсем было удобно в столь грозную для России минуту, да еще такому ярому патриоту и галлофобу, как Федор Васильевич.

– Вымолви хоть словечко, Кати, – упрасивал он упрямую и нежно любимую супругу, – а если обиделась на что-то, так прямо и скажи!

Он догадывался о причине ее сурового молчания, так же как и о причине молчания императора, не ответившего ни на одно его письмо. Причиной был юный Верещагин, купеческий сын, обвиненный в измене за перевод письма Наполеона к прусскому королю. Генерал-губернатор казнил его всенародно, вопреки решению Сената, на Большой Лубянке в день исхода из Москвы, отдав на растерзание пьяной озверевшей толпе. Он искренне полагал, что народный патриотизм требует «вещественной пищи» в виде наказания изменников и предателей, и эту «пищу» ему необходимо своевременно выдавать, хотя бы и вопреки всем законам – божьим и человеческим. Графиня узнала об этом бессмысленном зверстве уже во Владимире и целые дни проводила в постах и молитвах. Впрочем, она всегда отличалась крайней набожностью.

Но вот из Москвы поступили новые сведения. Молодой комендант развернулся уже не на шутку. Арестовано несколько десятков человек, сотрудничавших с оккупантами. Полным ходом идет расследование причин пожара. И хуже всего – Бенкендорф лично допрашивает причастных к делу Верещагина.

– Это по чьей же указке? – хмурился Ростопчин, и его обезьянье лицо покрывалось глубокими морщинами. – Я же все подробнейшим образом отписал Государю императору!

Главный полицмейстер столицы Ивашкин, державший перед ним отчет, пожал плечами. На его грубом, опухшем от безобразного пьянства лице не отобразилось ничего. Оба прекрасно понимали, по чьей указке действует молодой комендант, но не хотели в это верить.

– Не пора ли, Федор Васильевич, собираться в дорогу? – наконец нерешительно спросил обер-полицмейстер. – Как бы там без нас чего не вышло... Все же своя рука – хозяйка, а то, выходит, будто мы прячемся...

Ростопчин промолчал – возвращаться на пепелище ему ох как не хотелось. Вот-вот потянутся москвичи, оставившие все свое добро, теперь разграбленное и сгоревшее. Что тогда начнется? Ведь это он, губернатор, обманывал их своими бодрыми афишками, уверяя, что Москву не сдадут. Обманывал, хотя уже знал о решении, принятом в Филях. А все во имя святого дела – дабы избежать паники... Даже сообщение полицмейстера о том, что магазин мадам Обер-Шальме каким-то чудом стоит цел и невредим, со всеми своими богатейшими товарами, не произвело на него никакого впечатления. А впрочем... Впрочем...

– А впрочем, Ивашкин, поезжай! – Глаза губернатора беспокойно забегали, лоб расправился, морщины уползли под всклокоченные волосы. – Выставь там своих людей и вызови оценщиков, да только честных, не воров! И пусть все до копейки сосчитают и аккуратно внесут в реестрик!

– Вот это хорошо! – обрадовался обер-полицмейстер. – Надо показать, кто в городе хозяин...

– Ладно, ступай! – поморщился Ростопчин. – И поменьше философствуй, а то, как я вижу, ты разговаривать стал!

Когда Ивашкин вышел из кабинета, Федор Васильевич, поразмыслив немного над создавшейся ситуацией, неожиданно резко вскочил и быстрым шагом направился в покои жены. Он не любил подолгу раздумывать, часто рубил с плеча, нисколько не заботясь о последствиях. Возможно, бессознательно он подражал своему кумиру, императору Павлу Петровичу, хотя сам не раз пытался остудить его порывы безрассудства.

Графиня сидела в окружении трех дочерей. Наталья и Софья вышивали лики святых и попутно обучали рукоделию маленькую Лизу. При виде отца девочки поднялись со своих мест

и приветствовали его реверансами. Старшая, Наталья, при этом улыбалась, пятнадцатилетняя Софья принужденно отвела взгляд, как бы подчеркивая, что действует согласно приличиям и по указке матери. А шестилетняя Лиза не удержалась в рамках этикета, радостно взвизгнула и, топоча еще детски пухлыми ножками, бросилась в объятия к отцу. Граф поднял ее на руки и расцеловал в обе щеки.

– Ангел мой! – растрогавшись, воскликнул он по-французски.

Надо сказать, что природа, обделившая красотой старших Ростопчиных, как будто возвращала им этот долг через дочерей, которых даже худшие враги семьи не могли не признать миловидными. Младшая Лиза и вовсе была одарена с пристрастием, словно капризная богатая родственница завещала ей одной все свое наследство. Девочка обладала воистину ангельской внешностью. От матери она унаследовала роскошные светлые волосы, которые на фоне общего уродства у графини никто не замечал, от отца ей достались большие черные глаза, которые на обезьяньем лице самого Ростопчина только пугали или смешили. Слегка вздернутый кукольный нос, румянец на щеках и пухлые губки придавали ее облику очаровательную кокетливую женственность в духе картин Фрагонара. Не отпуская дочь от себя, граф произнес бодрым голосом, уже по-русски:

– Ну что, душечки-голубушки, в гостях хорошо, а дома лучше. Пора! Наш дом на Лубянке, говорят, не сильно пострадал...

– Ура! В Москву! В Москву! – закричала Лизонька, восторженно ерзая на руках отца.

– Лизетт, ведите себя, как подобает девочке вашего круга, – урезонила ее строгая мать.

– Маман, – обратилась к ней Наталья, с надеждой поднимая кроткие голубые глаза, в которых читалось очень много доброты и очень мало решительности, – мне тоже кажется, мы должны быть сейчас в Москве, вместе со всеми...

– А мне кажется, Натали, что ты слишком много стала себе позволять в последнее время! – возвысила голос графиня. – Когда говорят взрослые, дети молчат! Лизу извиняет хотя бы ее возраст, но тебе пора кое-что понимать!

– Зачем же так, Кати... – попытался защитить дочь Ростопчин, но яростный взгляд, которым его одарила супруга, лишил губернатора дара речи.

– Замолчи, Иуда, нехристь!

Многодневный обет молчания по отношению к мужу был нарушен. В этих словах, произнесенных на плохом русском, вместились все душевные мучения Екатерины Петровны, все ее посты и молитвы со времени исхода из Москвы. Граф под знаменем патриотизма и православия совершил чудовищные поступки, в ее понимании несовместимые с верой в Бога и любовью к Отечеству. Возможно, он и сам не понимает всей гнусности своего правления в Москве, но она, женщина набожная, не может с этим мириться. Графиня всегда отличалась резкостью в суждениях, но при дочерях старалась себя сдерживать. Сегодня она перешагнула эту грань, давая понять, что начался новый период в их семейной жизни.

Семейство замерло. Лиза, до смерти напуганная словами матери, крепче прижалась к отцу, из глаз побледневшей Натальи брызнули слезы и со словами «Я не могу так больше!» она выбежала из комнаты. Софья же стояла прямо, вытянувшись как струна, и смотрела на отца с такой же откровенной злостью, как и мать. Ее тонкие брови дрожали, почти сойдясь у переносицы, черные глаза, обычно блестящие и лукавые, померкли от яростного чувства, сжигавшего девушку. В свои пятнадцать лет Софья уже обладала большей светской сдержанностью, чем старшая сестра, и если что-то ее задевало, посторонний наблюдатель едва ли мог это заметить. Остроумная и очень неглупая, она умела выждать момент и расправиться с противником меткой, порою очень яркой остротой. Об этой ее черте знали в свете, кое-какие словечки юной дебютантки уже повторяли, и мать с затаенной тревогой наблюдала за успехами Софьи в обществе. «Она или выйдет замуж блестяще, или не выйдет вовсе, – сказала как-то графиня мужу в минуту откровенности. – Такой характер – ничего наполовину... Одна надежда, что Софи

понемногу выучивается держать себя в руках!» Однако сейчас эта выучка словно испарилась. Отец с трудом узнавал Софью – настолько преобразила ее миловидные черты страстная, идущая прямо из юного сердца ненависть.

– Это... это уму непостижимо!.. – только и вымолвил обескураженный граф, поставил на пол дрожащую Лизу, резко развернулся и вышел из комнаты, громко хлопнув дверью.

На следующее утро он выехал в Москву без семейства.

В солнечный, морозный день у дома Шуваловых остановились расписные сани, по-купечески аляповатые, запряженные тройкой мужицких захудалых лошадей. Из саней вылез высокий мужчина в шубе на собольем меху, изрядно потасканной и побитой молю. Он с криканьем расправил плечи, выгнул спину, размял одеревеневшие пальцы и чутко повел орлиным носом, будто хотел узнать, что готовили в доме на завтрак и что приготовят на обед. Потом хрипло окрикнул слугу:

– Илларион, выноси чемоданы!

Графиня Прасковья Игнатьевна Шувалова пряталась от французов в своем самом дальнем, вятском, поместье и, кажется, собиралась в нем перезимовать. Человек, которого к ней послал Макар Силыч, то ли застрял в дороге, то ли, доехав, ждал особых распоряжений графини – во всяком случае, вестей от барыни до сих пор не поступало. Впрочем, имея такого дворецкого, она могла не беспокоиться за свое имущество. Французский генерал, живший здесь во время оккупации, убегая, оставил много своих вещей, причем весьма ценных, и хозяйственный Силыч беззастенчиво присоединил их к барскому добру.

– Однако ты, братец, ловок! – хвалил дворецкого князь Илья Романович, топчась у жарко пылавшего камина в ожидании, когда прислуга приготовит для него комнату. Он опустился в заботливо придвинутое кресло и блаженно протянул к огню затекшие в санях длинные ноги. – Ты и сам целого состояния стоишь! Другой бы такой кусочек себе в карман положил, а ты все в барский... Не перевелась еще, видно, в людях совесть! Не верится даже... Такого слугу нынче днем с огнем не сыскать.

Илларион, стоявший за креслом хозяина, заметно надулся и недобро взглянул на Макара Силыча. Воодушевленный похвалой, дворецкий стал еще словоохотливей и между делом рассказал о молодом графе Евгении, который с друзьями офицерами останавливался на ночлег, а потом ушел с армией на Малоярославец. Узнав о гибели Елены Мещерской, граф, по словам дворецкого, всплакнул, но товарищи не дали ему пасть духом. Всю ночь просидели с ним у камина, прямо из бутылок пили токайское и мадеру и пели душевные песни под гитару.

– Так граф был влюблен в мою племянницу? – поинтересовался князь, и маленькие его глазки при этом замаслились.

– Как же, ваше сиятельство! – удивился дворецкий. – Перед самой войной обручились. Неужто вы не знали?

– Значит, сестра не успела мне сообщить... Лето я провожу в деревне... – уклончиво ответил тот.

Илья Романович не собирался кого-либо посвящать в свои семейные тайны. По всей видимости, в доме Шуваловых не знали о его ссоре с Антониной Романовной. «Слава богу, только обручились! – подумал он. – А то пришлось бы тяжбу затевать. Нет, шутишь, брат, все мое, все!» Зажмурившись от удовольствия, он прижал подошвы меховых сапог к каминной решетке, за которой так приятно потрескивал огонь. Отогревшись, князь решил перейти к делу, ради которого приехал.

– А скажи-ка, братец, в доме после пожара не осталось ли каких ценных вещей или бумаг?

– Все сгорело, ваше сиятельство, кроме книг. Библиотека у Дениса Ивановича богатейшая!

– Так-то оно так, да кому нужны книги, когда люди без пищи и крова остались? – Говоря это, Илья Романович пронзил взглядом дворецкого, и тот вздрогнул. Князь хорошо разбирался в людях и видел, что Макар Силыч не из тех, кто упускает свою выгоду. Наверняка тот и Архипа послал в деревню не из чисто душевных побуждений. – Ты не таись от меня, любезный, – зловеще посоветовал он, понизив голос до хрипоты, – за службу я щедро вознаграждаю, а за воровство и вилянье...

Белозерский не договорил, но дворецкий почувствовал у себя на затылке чье-то тяжелое горячее дыхание. Он и не заметил, как слуга князя переместился к нему за спину. Краем глаза Макар Силыч увидел, что Илларион накручивает на палец какой-то шнурок. Осознав всю опасность своего положения, дворецкий облился потом и, едва шевеля языком, произнес:

– Не изволите ли пройти в мою комнату... Кое-что есть, это верно, ваше сиятельство... Я только собирался доложить...

Его комната была убрана не без некоторого вкуса и даже модного кокетства, а высокая печь с голландскими синими изразцами натоплена так, что князь тут же взопрел. Он раздраженно отметил, что жилище слуги просторней его кабинета в Тихих Заводах и вне всяких сомнений выглядит богаче. Щегольская мебель розового ореха, обитая чуть затершимся полосатым атласом, настоящее венецианское зеркало в хрустальной раме, пышно разросшиеся пальмы в кадках – во всем был замечен особый барский тон, которому стремился подражать тщеславный дворецкий. Илларион со зловещим видом следовал за хозяином роскошной комнаты, отслеживая каждое его движение, дыша ему в спину, а тот испытывал животный страх при виде шнурка, который слуга князя безостановочно накручивал то на один, то на другой палец.

– В кабинете Дениса Ивановича после пожара я обнаружил вот это... – произнес Макар Силыч дрожащим голосом.

Встав на колени, он откинул кружевное покрывало с края постели и выдвинул на свет небольшой сейф, сделанный в виде старинного ларца. Сейф был заперт. Глаза Ильи Романовича загорелись диким огнем.

– А где ключ?

Дворецкий робко пожал плечами.

– Наверно, граф носил его при себе, – предположил он.

– Ну-ка, Илларион!

Грозный слуга без труда оторвал сейф от пола и поставил его на стол, покрытый бархатной скатертью с богатой шелковой бахромой.

– Совсем легкий, – покачал он головой, – видать, там не густо...

Затем достал из-за пазухи внушительных размеров нож, при виде которого дворецкого так и перекосило, и в минуту вскрыл ларец. Он разочарованно вздохнул, увидев тонкую пачку бумаг, – денег там не было.

– Вели-ка принести свечей! – приказал Илья Романович дворецкому и, как только тот вышел, шепнул Иллариону: – Глаз с него не спускай!

Он был чрезвычайно доволен находкой, так разочаровавшей слугу. Из обнаруженных бумаг следовало, что графу Мещерскому принадлежат восемь поместий в черноземных губерниях, с огромными наделами земли и пятнадцатью тысячами крестьян. Илья Романович прикинул, что волокита с переоформлением бумаг займет не меньше полугода, если не поторопить чиновников. А поторопить их можно только одним известным способом, но... Где взять денег? Если и были в доме ассигнации, то сгорели... Вперед господа чиновники не верят, им подавай наличные, этим зажавшимся скотам. Илья Романович упал духом и приготовился было мысленно возроптать на превратности судьбы, как вдруг обнаружил на дне ларца еще одну бумагу. Это была расписка ростовщика Казимира Летуновского в том, что он получил от графа на хранение... У князя потемнело в глазах – пятьдесят тысяч рублей серебром!

– Дурак! – в сердцах выругался Белозерский. – Поляку, жиду доверил целое состояние! Это был сокрушительный удар, и князь заранее почитал себя жестоко обкраденным. Огромные деньги, к которым он даже не успел прикоснуться, уплывали у него из рук. Ведь даже если проклятый ростовщик не удрал из Москвы с армией Наполеона, как большинство его соплеменников, то получить с него эти деньги будет весьма и весьма затруднительно. Об этом князь и думал всю долгую беспокойную ночь, ворочаясь в чужой постели в доме Шуваловых. Перины казались ему комковатыми, простыни сырыми, воздух угарным – и во всем была виновата расписка Казимира Летуновского, лежавшая у него в бумажнике. Как только Илье Романовичу удалось на мгновение забыться, ему немедленно начинали сниться пятьдесят тысяч рублей серебром, он со стоном открывал глаза и шарил руками по одеялу, словно лова катящиеся прочь монеты. К утру у него разлилась желчь и, увидев в зеркале для бритья свое отражение, князь сплюнул в умывальный таз, поданный Илларионом.

– К поляку! – мрачно бросил он, почти вырывая у слуги полотенце.

Маленький одноэтажный дом ростовщика на Остоженке Ильа Романович знал очень хорошо. В бытность свою офицером гусарского полка он заложил у Казимира немало ценных вещей и дорогу к нему помнил отлично. Едучи на Остоженку, князь, в принципе не будучи человеком религиозным, горячо молил Бога, чтобы Казимир был в Москве, чтобы дом его не тронул пожар и чтобы деньги графа Мещерского не разворовали колодники или французы. Он совершенно не верил в успех предприятия и надеялся только на чудо.

Едва выехав на Остоженку, Ильа Романович увидел, что дом Летуновского сгорел. Сердце у него упало, однако вновь затрепыхалось, когда он заметил, что на месте дома сколочена временка и из печной трубы идет дым. Появилась крохотная надежда, и князь стал прикидывать, расплавится в огне серебро или нет? Вряд ли, разве что почернеет...

Дверь временки была заперта изнутри. На упорный стук Иллариона выползла наконец древняя уродливая старуха с клюкой и в каких-то нелепых, истлевших одеждах. Ильа Романович прекрасно ее помнил, она была у Казимира и горничной, и кухаркой. Князь удивился, найдя ее живой, ведь еще во времена своей юности считал, что она на ладан дышит и вот-вот рассыплется в прах.

– Чего, батюшка, надобно? – проскрипела старая ведьма.

– Разве не помнишь князя Белозерского? – заносчиво крикнул он.

– Куды мне помнить всех? – махнула старуха клюкой. – Мало ли князей к нам заходили? Закладывал чего, батюшка? Так все сгорело! А что не сгорело, то хфранцузы прибрали. Ох, коловратные времена наступили, ох, коловратные!

С бессильной старушечьей ненавистью процедив эти слова, она хотела закрыть за собой дверь, но князь вовремя подставил ногу.

– А где хозяин твой? Тоже сгорел?

– Типун тебе на язык! – перекрестилась она. – Барин в деревню отбыли.

– Полно врать-то! – рассмеялся князь. – Откуда у Казимирки деревня?

– Хошь верь, хошь нет, в деревне он, у друга своего гостит.

– И где же эта деревня находится?

Белозерский не верил ни единому слову старухи. У ростовщиков не бывает друзей, кроме туго набитого кошелька.

– А он не сказывал...

– Когда же вернется?

– Ох, и въедливый ты, батюшка, измучил ты меня вопросами! По весне, кажись, обещал. А может, и долее загостится. Мне он не отчитывался!

Белозерский понял, что ему ничего не добиться от старой ведьмы и на сей раз позволил ей закрыть за собой дверь. Князь вернулся к саням, но сесть в них не торопился, обдумывая

услышанное. Из беспардонного и нелепого вранья старухи он принял на веру только то, что Казимир не удрал с французами. А не удрал он потому, что не захотел терять жирный барыш. Еще бы! Пожар и оккупация – благо для ростовщика, как для любого темного дельца. В суматохе и панике никто ни за что не ответственен. На пожар и грабителей списать можно многое. Заложенный дом князя тоже сгорел. Почему Казимир велел говорить, что отбыл в деревню? Ведь это глупо, кто поверит... Но тут же Белозерский припомнил, что дворецкий Шуваловых давеча рассказывал об арестах, произведенных комендантом в городе. Поляки находятся под особым надзором, хотя большую часть арестованных составляет русское купечество, хотевшее нажиться на поставках для наполеоновской армии. Летуновский боится, что его обвинят в пособничестве французам. Боится ареста, потому и прячется в какой-то темной щели, как осторожная, опытная старая крыса.

– Он в Москве! В Москве, каналья! – произнес вслух Белозерский.

– Верно, барин, в Москве, – вдруг вмешался Илларион.

Илья Романович не терпел, когда слуги лезли в разговор, а тем паче когда он общался с самим собой, и с трудом удержал руку, уже поднявшуюся было для оплеухи. «Парень ловок, авось возьмет след!» – подумал он.

– Что ж посоветуешь, братец? – панибратски осведомился князь.

– Советовать не могу, а вот думаю, что пан ростовщик наведывается сюда, иначе старуха уже померла бы с голода. Кто ее будет кормить, этакую труху?! И он держит ее здесь не зазря. – Илларион сделал лукавую многозначительную мину.

– А какой ему прок в старухе? – недоуменно спросил Белозерский.

– Не скажите, барин. Вот нынче вы себя назвали, так она и титул ваш, и имя запомнила. Я по глазам заметил, они у нее забежали. Бабка-то еще, видно, из ума не выжила!

– Для чего же ей это, по-твоему?

Князь уже начал догадываться, куда клонит Илларион, но виду не подал. «Шельмец честолюбив, любит быть на коне, так пусть маленько поскачет, а после я его осажу!» – решил он про себя.

– Это нужно пану ростовщику, – назидательно стал растолковывать Илларион, явно гордясь своим интеллектуальным преимуществом. – Попомните мое слово: старуха ему докладывает о каждом госте, а он заносит в особую тетрадочку. Ведь не все после такой заварушки вернутся в Москву. Уж я эти хитрости знаю! – Он смотрел на князя свысока и продолжал все с большим воодушевлением: – Она ему и о настроении каждого гостя докладывает. Кто понахрапистей и готов применить силу, а кто отчаялся вернуть свое добришко и безропотно стерпит. Пану Летуновскому это все очень даже пригодится, когда дело дойдет до закладных...

– Дойдет ли? – засомневался Илья Романович. «Ты, брат, умен, да я не хуже тебя разбираюсь в людях! Молод меня учить!»

– Вот что, милоч, – после минутного молчания начал он по-отечески, – видишь ту печку? – Он указал на остов печи на другой стороне улицы, как раз напротив старухиной времянки. – Сегодня же выстроишь вокруг нее сараюшку и будешь здесь ждать Казимира.

Предложение барина явно пришлось не по вкусу бывшему разбойнику. Он почесал в затылке и упавшим голосом спросил:

– А мороз ударит?..

– Ничего, Макар подвезет тебе дровишек и продовольствия. Лежи себе на печи да посматривай в щелочку! И замечь – по случаю морозов никаких клопов! – скривил он рот в усмешке.

– Так-то оно так, – явно недооценивая заманчивое предложение князя, продолжал сомневаться Илларион, – да только, как же я узнаю ростовщика?

– Ну это брось, узнаешь! – прекратив усмехаться, грубо оборвал его Илья Романович. Ему надоело ломание слуги. – Все ростовщики на жидов похожи, и Казимир не исключение. Маленький, сухонький, пучеглазый... В общем, поймешь, как увидишь...

Три дня и три ночи просидел Илларион в наспех сколоченном сарае, не спуская глаз со старухи, и все впустую. Старая ведьма вообще не выходила из временки, зато к ней постоянно навевались гости, закладывавшие у ростовщика свои вещи. Судя по их унылым лицам, служанка ростовщика угощала их той же басней об уехавшем в деревню хозяине. Никого, хоть сколько-нибудь похожего на Казимира, среди них не было. На четвертую ночь, когда ударил особенно лютый мороз, отчаявшийся Илларион решил действовать: «Ворвусь к ней, приставлю нож к горлу, старая мигом разговорится! Недохнуть же тут из-за этой хрычовки!» Он переждал драгунский патруль, который проезжал по Остоженке всегда в одно и то же время, и бесшумно, по-волчьи, перебежал через улицу.

Илларион вошел без стука, рванув, что было силы, дверь старухиной временки. Незапертая дверь легко поддалась, и каково же было удивление парня, когда он никого не обнаружил за нею! Ведьма испарилась, притом что он весь день глаз не спускал с ее двери! Илларион даже перекрестился, настолько это показалось ему диковинным и связанным с нечистой силой, но, хорошенько осмотревшись, понял, что тут обошлось без колдовства. Временка имела еще одну, с первого взгляда незаметную дверь, выходившую на пустырь с обугленными черными деревьями.

– Дурень! – обругал себя Илларион. – Так бы и замерз, не догадался!

Он в сердцах пнул щелистую дверь и вышел на пустырь. Ясное, чернильно-синее небо густо усыпали колющие морозные звезды, и полная луна высоко поднялась над сожженными деревьями, над мертвой, зловеще-безмолвной Москвой. При ее свете на свежавыпавшем снегу отчетливо были видны следы старухи. Илларион отметил, что ведьма немного косолапит, загребая носками внутрь. Следы спускались вниз, к реке, откуда редкими короткими порывами задувал ветер. Илларион постоял, прислушиваясь к звенящей тишине вымершего города. Человеческих голосов и ржания лошадей слышно не было, лишь где-то выла собака, оплакивая родное пепелище и свою сиротскую долю. Ветер рванул злее, прокусив насквозь теплую одежду слуги, по ногам пробежала поземка. Надо было торопиться, покуда не началась метель. Он пустился по косолапым следам старухи, спускаясь к реке. Там, в низине, следы почти замело, но Илларион понял, что старуха шла к другому берегу. «Там, знать, и живет ростовщик!» – догадался он и прибавил шаг.

На середине реки следы окончательно исчезли, но Илларион уверенно продолжал путь к противоположному берегу. Обледеневший берег оказался очень крут. «Она не могла здесь подняться! Что за чертовщина!» На какой-то миг парень растерялся, не зная, что предпринять. Ветер усиливался, а налетевшие тучи время от времени закрывали луну, погружая в зыбкий, зловещий мрак реку и берег. «Здесь какой-то фокус, – твердил себе Илларион, – какое-то тайное приспособление». Для него этот путь не представлял никакой сложности, он залез бы вверх по обрыву без всяких приспособлений, но важно было понять, как залезла старуха, потому что наверху вряд ли теперь отыщутся ее следы. Парень медленно продвигался вдоль обрыва, поднимая до ушей вышарканный воротник старого тулупа, который был извлечен князем из ветхого сундука в Тихих Заводах и щедрой рукой подарен любимому слуге. Обжигающий ветер пронизывал его насквозь, тело ломило, но Илларион не сдавался. Он тщательно, вершок за вершком, осматривал крутой берег, жалея только о том, что загодя не смастерил факел. Небо уже стало черным, но луна на миг выкатилась из-за туч. Он задрал голову, чтобы оценить, надолго ли ему хватит небесного освещения, и вдруг увидел на вершине обрыва темную полосу, теряющуюся в снегу. «Веревка!» – осенило его. Чтобы найти ее конец, пришлось разгребать снег руками, но, слава богу, настоящая метель еще не началась, и он оказался неглубок.

Когда Илларион забрался наверх, ему разом стало все понятно. Веревка была привязана к дереву, стоявшему возле деревянной одинокой лачуги, которой побрезговал даже пожар. Гнилой домишко, казалось, вот-вот развалится под порывами ветра. Скрип чердачной двери походил на стоны умирающего старика, измученного подагрой. В единственном окне, выходящем на реку, света не было. Парень обошел вокруг дома, но из остальных окон тоже слепо смотрела тьма. Метель разбушевалась уже не на шутку, и пускаться в обратный путь было не слишком заманчиво. Илларион думал недолго. Увидев приставленную к лачуге лестницу, бесшумно залез на чердак. Там, прижавшись к печной трубе, сразу почувствовал тепло и понял – в доме люди, наверняка – это старая ведьма и пан ростовщик... «Теперь не уйдут!» – подумал он и с этой победной мыслью уснул.

В маленьком чердачном окошке медленно, неохотно рассвело. За ним виднелась замерзшая река, покрытая высокими сугробами, оставленными вчерашней метелью. Мороз упал, и в сером хмуром небе простуженно откашливались вороны, но разбудили крепко уставшего слугу не они, а человеческие голоса, донесшиеся снизу по печной трубе. Услышав их, Илларион резко вскочил, спросонья не сообразив, где он, ударился макушкой о низкий скос крыши, охнул и тут же осекся, прислушиваясь.

Он сразу узнал неприятный, хрипловатый голос старухи и порадовался своей проницательности. Другой, незнакомый голос, принадлежал мужчине, в нем отчетливо слышался легкий акцент. «Попался, голубчик! От меня, брат, не уйдешь!» – Илларион сладко потянулся, расправляя задеревеневшие конечности, и его заросшее лицо посетила редкая гостья – довольная улыбка.

Пан Летуновский каждый день ждал ареста. Кому есть дело, сотрудничал он с французами или нет, горько рассуждал опытный ростовщик. Достаточно ведь просто донести, что в доме таком-то проживает поляк... Губернатор Ростопчин не пожалел собственного повара-бельгийца, прилюдно его высек, отправил в одной рубашке в Сибирь! А вот еще чище: взял и посадил давно живших в Москве французов – артистов, книгопродавцев и прочих – на барку и пустил в открытое плавание, без денег и всякого продовольствия. За то лишь, что французы... Других иностранцев губернатор тоже не жаловал, и разве ему докажешь, что Казимир Летуновский, честный ростовщик, уберегший большую часть чужого добра и от пожара, и от пресловутых французов, жил при Наполеоне скромной жизнью простого обывателя. Что ему до французов? Какой он им пособник? Он уже двадцать лет в России и в силу своей профессии безошибочно оценил неисчерпаемые богатства этой страны и беспредельную щедрость ее граждан. Чистое золото высшей пробы – он не сменяет его на заграничную побрякушку! Взять хоть тех же французов на барке! Не пропали, не погибли в этой «дикой» стране, а проплыли благополучно аж до Нижнего Новгорода, и везде их радушно встречали, кормили несчастных, давали денег и припасов в дорогу. Где еще такое возможно? Нет, пан Летуновский никогда не уедет из этой страны и не обманет оказанного ему доверия!

Старухе Аскольдовне было поручено ждать возвращения трех важных клиентов, оставивших Летуновскому на хранение крупные суммы денег. Среди них числился и граф Денис Иванович Мещерский. Прочим закладчикам покамест приходилось отказывать и врать, но ростовщик надеялся, что в более тихие времена разберется и с ними. Он ждал только троих и потому, когда Аскольдовна доложила ему о приехавшем князе Белозерском, ростовщик пропустил новость мимо ушей. Этого носатого пустопляса он когда-то изучил вдоль и поперек и не думал, что за то время, которое миновало со дня их последней встречи, в князе появилось что-то новое, достойное дальнейшего изучения. Одно время Казимир даже думал, что того на свете нет – убит в пьяной драке, погиб на дуэли, а то и просто сдох забором. Очень даже просто при таком отношении к деньгам... Но год назад постаревший вертопрах явился из небытия с

очень странным вопросом, не оставляла ли покойная его супруга денег на хранение? Казимир и в глаза-то не видел супруги Белозерского, но доказывать это князю было очень неприятно. Что ему нужно теперь? Или принес какой-то пустяк в заклад (все ценное-то давно – ау!), или снова выдумал какой-то вздор.

Если бы не Мещерские, ростовщик, пожалуй, все-таки исчез бы на время из Москвы, однако к этому долгу он относился не по-ростовщически щепетильно. Графа Казимир знал много лет и очень уважал, не раз бывал у него в доме по-свойски, и семья графа никогда им не брезговала. Даже принимала подарки, которые он делал их дочке на именины. Мысль о том, что Денис Иванович может подумать о нем скверное, мол, поляк обманул и под шумок драпанул на родину с его деньгами, не давала ему покоя. Казимир не сомневался, что Мещерские зимуют в одной из своих деревень, и очень рассчитывал на то, что граф должен беспокоиться о деньгах, оставленных в сгоревшем городе, и явиться как можно скорее. Только скорее бы! В Москве жутко, уж больно «коловоротные» времена, как ворчит Аскольдовна. Видит Бог, он висит на волоске, ведь если его арестуют, обвинив в измене, могут все конфисковать, как уже сделали с некоторыми русскими купцами. И вот чем окончится его маленький ростовщический и вместе с тем человеческий подвиг... Разорение, тюрьма, позор... Новый начальник, господин Бенкендорф, не щадит изменников. Одно отрадно – говорят, он ведет справедливое следствие, неподкупен и не так безумно скор на расправу, как Ростопчин. Всех будут судить по закону. Отрадно верить, но... Слишком хорошо зная жизнь, в справедливость верить нельзя!

С этими тяжелыми мыслями Казимир просыпался и засыпал, с ними застал его и визит непрошенных гостей. От стука в дверь сердце ростовщика упало куда-то в желудок, в глазах потемнело. «Вот оно! Нашли меня! Донесли... Конец!» Придя в себя, он опасливо выглянул в окно. Во дворе стояли расписные сани, а в дверь стучал незнакомец в изношенном тулупе, высокий ростом, широкий в плечах. Не похоже, чтобы от нового коменданта, тот бы прислал военных. Ростовщик слегка осмелел.

– Что вам угодно? – спросил он через дверь, стараясь придать уверенное звучание дрогнувшему голосу.

– От графа Мещерского, – сказал незнакомец. – Откройте!

– А что же Денис Иванович сами не приехали? – поинтересовался ростовщик, вовсе не торопясь исполнять приказ.

– Барин больны-с... Велели письмо передать...

Никогда он не видел у графа таких базарно расписанных саней, да и люди Дениса Ивановича всегда были одеты безукоризненно, в обносках не ходили. Однако война и не такие фокусы показывает!

Казимир отпер дверь, но едва она приоткрылась, как незнакомец схватил его за грудки, поднял над землей и буквально внес в комнату.

– Спасите! Караул! Грабят! – захрипел Летуновский, вмиг сообразивший, что его наглейшим образом надули и, вероятно, сейчас будут убивать.

Однако разбойник, бросив корчившегося ростовщика на стул, не проявлял желания с ним покончить. Казимир вскочил было, чтобы бежать, но Илларион, нажав ему на плечи, усадил обратно.

– Ну зачем же так? – услышал вдруг Казимир знакомый голос.

Он повернулся и не поверил своим глазам. В дверях стоял князь Белозерский, эффектно драпируясь полами собольей шубы, впрочем, довольно изношенной, за которую Казимир не дал бы и пятидесяти рублей. Князь водил своим орлиным носом, рот его кривила усмешка.

– «Грабят! Караул!» – передразнил он. – Никто тебя не грабит, трус ты, Казимирка...

– Что вам угодно? – Голос ростовщика сорвался на истеричный визг. – Так ворваться – это...

– Тише, тише, братец, я вовсе не желал тебя напугать, – сказал Белозерский вполне миролюбиво. – Просто, зная тебя, решил, что на другое имя ты бы не отпер, а у меня важное дело, не терпящее отлагательства.

Князь без приглашения взял стул и уселся напротив ошеломленного Летуновского.

– Если вы опять насчет денег вашей покойной супруги, то я, проше пана, готов на святой иконе поклясться, что...

– Господь с тобой, – замахал руками Илья Романович, – клясться грех, с покойной супругой я сам как-нибудь разберусь. А вот что ты скажешь на это? – Он достал расписку графа Мещерского.

Казимир, взяв ее в руки, сразу спал с лица. Перечитав расписку, не поверил собственным глазам. Заподозрить князя в воровстве или подлоге он никак не мог. Даже тому, кто помнил беспутную молодость Белозерского, подобный поступок показался бы чрезмерным...

– Как же это понимать?... – едва вымолвил Летуновский.

– А так и понимай, братец, что граф Денис Иванович приказали долго жить. Пали героически под Бородином... Вечная память героям... – Князь вздохнул и старательно перекрестился. – Супруга его Антонина Романовна вместе с дочерью сгорели во время московского пожара...

– Нет! Не может быть! – закричал ростовщик так пронзительно, что даже бесчувственный Илларион вздрогнул. Слезы брызнули из глаз поляка.

– Вот тебе на! – поразился его реакции князь, сам отлично обошедшийся без слез при этом известии. – Ты тут комедию не разыгрывай! Где мои деньги?

– Ваши деньги? – все еще не понимал утиравший слезы Казимир.

– Ну да! Я, как родной брат Антонины Романовны, наследую все состояние Мещерских. Летуновский даже не подозревал, что князь состоит в родстве с Мещерскими. Восхищавшее его семейство Дениса Ивановича никак не сочеталось в его сознании с этим пустоголовым мотом и картежником.

– Вы уже вступили в права наследства? – задал он резонный вопрос.

– Пока еще нет, но ты мне поможешь...

Он не договорил, потому что Казимир громко высморкался в носовой платок и заявил уже вполне твердым голосом:

– Ясновельможный пан должен сначала предоставить бумагу, где... Сожалею, но я не вправе ничего делать.

– Нет, милый! – рассвирепел князь. – Сначала я возьму тебя за шиворот да предоставлю на Страстной, к Бенкендорфу! Попляшешь у него на допросах!

– Это будет весьма неосмотрительно с вашей стороны, – парировал ростовщик, – ибо деньги графа тогда конфискуют.

Илья Романович осекся и крепко задумался. Ведь и правда – конфискуют! Однако он быстро нашел выход.

– Ну это ты брось! – сказал он, впрочем, не так уверенно, как прежде. – И над комендантом есть власть. Губернатор Ростопчин – мой старый приятель.

От одного упоминания имени Ростопчина поляка пробил дрожь, по лицу пробежала судорога. Как сопротивляться человеку, у которого в приятелях этакий зверь? И потом, не украл же, в самом деле, Белозерский расписку? Бедный Денис Иванович! Поляку снова захотелось расплакаться, но встревоженный рассудок быстро заглушил душевную муку. В человеке заговорил ростовщик.

– Хочу обратить ваше внимание, ясновельможный пан, – смягчил он тон, – на один пункт расписки. Граф мне должен был уплатить за хранение два гривенника в день. За десять дней – два рубля, за сто дней – двадцать.

Князь мгновенно прикинул, что сейчас для него двадцать рублей – пустяковая сумма, а также подумал, что в его нынешнем положении будет умнее и выгоднее хранить деньги у ростовщика.

– Я вижу, ты честный и надежный человек. – Произнеся эти слова, Илья Романович сам с удивлением к себе прислушался. Подобное он говорил впервые и не был уверен, что выразился убедительно. – Так вот, я не только уплачу проценты, но и, взяв нужную мне сумму, оставлю деньги у тебя на хранение. Ты должен ценить мое доверие!

Новый договор был скреплен бутылкой домашней наливки, извлеченной Илларионом из саней, которые уже не казались такими вульгарными подвыпившему и окончательно сбитоному с толку Казимиру. Князь и ростовщик выпили за упокой графа Дениса Ивановича и его семьи, причем поляк снова расчувствовался, раскис и был покинут своими гостями в самом плачевном виде.

Белозерский напрасно пугал ростовщика Бенкендорфом. Коменданта в это время уже не было в Москве. Срок его полномочий истекал, оставалась последняя, самая тяжелая работа. Предстояло очистить Бородинское поле от людских и лошадиных трупов. Солдаты сгоняли крестьян из местных деревень, те крюками и вилами отдирали от промерзшей земли истлевшие тела, сваливали их в огромные кучи, затем поджигали. Все понимали – если не сделать этого сейчас, то весной чумы не избежать. Шутка ли, более ста тысяч трупов! Над полем стоял невыносимый чад, выли волки, будто отпевали героев, жалобно и страшно. «Вот цена героизма, – горестно размышлял Александр, – о них потом сложат песни, поэмы и никто не вспомнит и не упомянет об этих позорных кострах, о том, что отказали героям в самой малости – не похоронили по-христиански, а сожгли, как еретиков...»

С такими грустными мыслями он будет догонять армию. Его отчет Государю императору о действиях губернатора Ростопчина еще не полон, в нем не хватает многих фактов, но и того, что есть, вполне достаточно, чтобы сделать кое-какие выводы и извлечь уроки. Однако у Ростопчина много защитников при дворе, а государь не сторонник крутых мер. К тому же он недолюбливает полковника Бенкендорфа, отец которого был верным и преданным слугой покойного императора. Александр понял из увиденного и услышанного в Москве одно – России нужна сильная полицейская власть. Она подавит любые беспорядки, заранее обезвредит зачинщиков, не допустит беззакония местных управителей и, возможно – как бы хотелось в это верить! – предотвратит кровопролитные вражеские нашествия.

Костры над Бородином догорали. Срок полномочий коменданта заканчивался. Московские старожилы вспоминали потом, что никогда в Москве не было такого порядка и спокойствия, как в первый месяц после ухода французов.

Граф Федор Васильевич Ростопчин, губернатор московский, с видом победителя шествовал по магазину мадам Обер-Шальме, возглавляя отряд полицейских. В своем коротком послании Государь император велел ему раздать все французские товары неимущим семьям, потерявшим на пожаре свое добро. Товаров в магазине после ревизии оказалось на шестьсот тысяч рублей. Зеркальные витрины, высокие шкафы орехового дерева, длинные лакированные полки – все ломилось от предметов роскоши, казавшейся вызывающей и наглой в самом сердце обугленного, вымершего города. Крохотный островок, нетронутый войной, казался заколдованным, как замок Спящей Красавицы.

– Неимущим семьям, самым неимущим, – с улыбкой на обезьяньем лице повторял граф и обращался к главному полицмейстеру Ивашкину: – Как думаешь, можно мою семью назвать неимущей? Дом на Лубянке разграблен, дачу в Сокольниках сожгли супостаты, поместье Вороново я поджег сам, чтобы не досталось врагам... Гол как сокол, а у меня растут невесты!

– Конечно, ваше превосходительство, – отвечал верноподданный полицмейстер и смотрел на губернатора с собачьей преданностью. – Ваша семья сильно пострадала.

– Тогда скажи людям завернуть мне вот эти посудинки, – он ткнул пальцем в банкетный сервиз на двести персон, занимавший всю громадную витрину. – Не из деревянных же мисок хлебать щи моим девочкам.

– Слушаюсь, ваше превосходительство! – Ивашкин подозвал полицейских.

– Если хоть один предмет разобьют, получат двадцать ударов палками! – с той же улыбкой предупредил граф.

Для своей «неимущей семьи» он также отобрал серебряные приборы, картины, позолоченные подсвечники и канделябры. Для дочерей были отложены самые модные платья, духи и косметика. Потом для своих «неимущих семей» начали отбирать товары обер-полицмейстер и другие чиновники. Даже самым низшим полицейским чинам досталось в тот день товаров не менее чем на пять тысяч рублей.

Так генерал-губернатор и его свита завершили разграбление Москвы, начатое в сентябре колодниками, выпущенными на свободу.

Глава четвертая

Елена посещает свой первый бал. Легко ли добраться от Коломны до Москвы? – Чувствительный дядюшка и неблагодарная племянница

А что же наша героиня? Мы оставили юную графиню посреди реки, в легкой лодчонке, предназначенной больше для увеселительных прогулок, чем для дальних странствий. Убегая от французов и от собственных страшных воспоминаний, Елена путешествовала таким образом еще двое суток, без еды, в полуобморочном состоянии. Она не помнила, как причалила к берегу, не осознавала, как чьи-то заботливые руки вытащили ее из лодки, внесли в дом, уложили в постель. У нее началась горячка, сопровождавшаяся потерей сознания и бессвязным бредом. Чаще всего она видела себя в яблоневом саду, с тем самым парнем, который спас ее от бесчестия. Молодец заряжал пистолеты и без конца стрелял по яблокам, по ее любимым «звонкам». Она кричала ему: «Нет! Не надо!», а тот даже не оборачивал к ней бритую, как у татарина, голову и продолжал стрелять. Лица своего спасителя Елена никак не могла вспомнить... А то вдруг она снова оказывалась в лодке, вокруг плыли трупы, целая река покойников медленно несла ее куда-то вдаль. Елена узнавала знакомых... Вот плывет Михеич, а вот нянька Василиса, оба тихие, умиротворенные, на груди у них горят свечи. Вся река словно горит, так много вокруг свечей! С берегов пахнет свежескошенными луговыми травами, там жужжат шмели и пчелы, раздается колокольный звон из невидимой церкви. Плывет и маменька Антонина Романовна в белом бальном платье, с флер д'оранжем в волосах, с жемчужным ожерельем на шее, спокойная и торжественная. А чуть поодаль – папенька Денис Иванович, и у него открыты глаза. Смотрит он в небо, где нещадно палит солнце, и, кажется, слушает благовест. Елена не трогает весел, лодку несет течение, а рядом плывут домочадцы, словно оберегая ее, укрывая от бед и мучений, и она вовсе не боится покойников, напротив, на душе у Елены спокойно и благостно...

Впервые очнувшись, Елена увидела над собой незнакомое лицо и вздрогнула. Она поняла – новая, жуткая жизнь не кончена, и от души пожалела, что не уснула навеки. Над нею с озабоченным видом склонялся старик в холщовой рубахе. Один рукав был пуст и аккуратно заткнут за широкий кожаный пояс. На сморщенном, изможденном лице виднелись шрамы – следы былых баталий, а череп до самого затылка был обожжен, и волосы на нем не росли. Елена испугалась бы этого инвалида, если бы не его добрые, светлые глаза, немного наивные и в тоже время плутоватые, и не сходящая с лица улыбка. От старика несло дешевым табаком, и девушка, не выдержав, поморщилась.

– Очнулась, голубушка! – обрадовался он. – Вона как носом повела! Сразу видать, барынька, к нашему духу непривычна!

– Где я? – тихо выговорила графиня.

– В Коломне, милая, – охотно пояснил старик, – в гостях у меня...

Он вдруг резко отскочил назад, картинно выпрямился, молодецкато, словно показывая па мазурки, шаркнул слабыми ножками и лихо оттрапортовал:

– Разрешите представиться, мещанин сего города Котошихин Степан Петрович.

В другое время и в другом месте Елена залилась бы звонким смехом, до того был забавен и смешон этот старикан. «Ему бы служить в дураках при каком-нибудь господине да веселить гостей», – подумала она. Однако сейчас было не до смеха. У нее едва хватило сил назвать в ответ свое имя и спросить, далеко ли до Москвы.

– Близехонько! – заверил Степан Петрович и вдруг с досадой хлопнул себя единственной рукой по боку. – Что же это я, старый дурень, лясы точу, дитятко голодом морю! Ну-ка, я тебя

сейчас супцом мясным накормлю, – засутился он, – а то, гляди, как исхудала, сердечная! Кожа да кости, и тех чуть-чуть...

Потешный старикан, приплясывая, поскакал на кухню, а Елена тем временем принялась с удивлением разглядывать незнакомую комнату. До этого она знала только усадьбы, свои и соседские, да крестьянские избы, куда захаживала по праздникам. Папенька с детства приучил ее дарить крестьянским детям игрушки и гостинцы.

Городской мещанский дом, в котором очутилась Елена, представлял для нее совершенно новое, диковинное зрелище. Большая комната в два окна показалась ей темной и неудобной, хотя в глазах отставного солдата являлась вполне удобным и комфортабельным помещением, достойным своей юной гостью. Бревенчатые стены были оклеены дешевыми желтенькими обоями, больше похожими на оберточную бумагу, и украшены потемневшими гравюрами, изображавшими батальные картины, на которых, впрочем, ничего нельзя было разобрать, кроме клубов порохового дыма и взвившихся на дыбы бешеных лошадей. Из-за лакированных камышовых рамок то и дело высывались и тут же прятались обратно рыжие тощие тараканы, словно обсуждавшие между собой удивительное появление Елены в доме их престарелого хозяина и прикидывавшие, что им с этого будет? На почетном месте, рядом с киотом, висел большой, напечатанный в красках портрет Екатерины II, между окон на скамеечке красовалось несколько горшков с пунцовой геранью, старый деревянный диван с решетчатой спинкой был покрыт лоскутной попонкой домашнего изготовления – вот почти и все, что стоило разглядывать в жилище доброго старичка. Мебель в комнате стояла самая простая, но содержалась опрятно, выкрашенный красною краской пол был недавно вымыт и блестел – все смотрело на Елену так же приветливо и бодро, как и сам хозяин этого небогатого дома.

Вскоре Степан Петрович вернулся и привел с собой молодую пышногрудую девку, которую звал Акулькой. Она бережно несла, прихватив передником, горячую миску с жидким супом. Елена так ослабла, что не сумела самостоятельно сесть, и Акулька, усадив ее удобно в подушках, принялась кормить с ложечки, как маленькую, да приговаривать: «Ешь, барынька, ешь голубушка, за папеньку, за маменьку...», отчего у девушки сразу выступили слезы на глазах, и больше одной ложки она проглотить не сумела. Попросив прощения и уткнувшись в подушку, Елена дала волю слезам.

– Это нервы у ней выкаблучивают, ай-ай-ай, – объяснил оторопевшей Акульке старик Котошихин и закачал головой. – Мне наш дохтур Занцельмахер об этом научно все растолковал. Особливо девицы подвержены!

Елена никак не могла остановиться и уже заходила в рыданиях. Глядя на нее, за компанию ревела и Акулька, причем вывела басом такие рулады, что стекла в окнах задребезжали, будто мимо дома проехала подвода, груженная камнями. Степан Петрович, растерявшись и остоленев от согласного девичьего воя, в конце концов ударил себя единственной рукой по лысому черепу и гневно сказал:

– С туркой воевал, на прусака ходил, а с девками не справлюсь? – И вдруг закричал не своим голосом: – Молча-а-ать, кликуши эдакие! Не на паперти, поди, а в приличном доме! Здесь орать не дозволяется!

Графиня с девкой разом умолкли и уставились на старика, который принял величественную позу. Он стоял посреди комнаты, широко расставив ноги и подняв указательный палец, при этом страшно вращал глазами, которые почти выкатились из орбит, и уморительно дергал массивным носом, словно выхухоль. Елена невольно улыбнулась, а Акулька залилась истеричным смехом:

– Напугать хотел Степан Петрович, а вышла потеха! Да, прошли времена, когда унтер-офицер Котошихин сеял страх и ужас на поле брани! Много славных побед одержал он под командованием фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского, пока не был изувечен турком в рукопашном бою. Домой вернулся одноруким, зато с женой, пленной турчанкой. Зульфия,

в православии нареченная Софьей, родила ему сына и дочь, но от вторых родов занемогла и вскоре скончалась. Мальчика Степан Петрович назвал Аполлоном в честь греческого бога. Был сынок и в самом деле красив, как Аполлон, смуглолиц, черноволос и глазаст – в матушку. От отца он унаследовал страсть к военным баталиям и вот уже лет семь как не был дома, изредка посылая о себе весточки с полей сражений. Дочку Котошихин опять же назвал, как богиню, Афродитой, поскольку питал страсть ко всему возвышенному и помпезному. Афродита Степановна, однако, не оправдав своего имени, лицом вышла очень дурна, к тому же переболела в детстве оспой, что не добавило ей очарования. Девушке пророчили безмужную жизнь, но она, на удивление всему городу, ловко заарканила богатого старика-купчишку, который вскоре после свадьбы неожиданно преставился. Так Афродита в одночасье стала владелицей капитала, дома с садом и доходного дела. Котошихин хвастался перед соседями дочерью, гордясь ее умом и удачливостью, те же меж собой обсуждали ее скаредность, нелюдимость и яростную показную набожность. Афродита не скупилась жертвовать на церковь, но нищим не подавала и даже родного отца не баловала. На праздник преподнесет ему калач, и на том, как говорится, спасибо! Степана Петровича кормила его старая галантерейная лавка, заведенная им еще тридцать лет назад, когда он вернулся домой инвалидом. В общем, они с Акулькой, служившей у него в лавке и одновременно заменявшей кухарку, не бедствовали, но и не купались в роскоши, а главное, ели свой хлеб и ни от кого не зависели.

Елена поправлялась очень медленно, тоска по дому и родным осложняла течение болезни, и доктор Занцельмахер только разводил руками. «Ей бы отвлечься, развеяться, вот мой рецепт, – говорил он и тут же прибавлял: – Да только в нашем городишке скука смертная, по случаю войны отменены все развлечения».

В один из дней, проведенных графиней по обыкновению в слезах, она вдруг решила поведать старику о своей трагедии. Ее рассказ прерывался рыданиями, а бывший екатерининский вояка только охал да крестился. В конце Елена вскрикнула: «Не хочу больше жить, не желаю!» – и вновь уткнулась в подушку. Пригладив ее волосы единственной рукой, Котошихин произнес с досадой: «Эх, была бы ты нашего сословия! Женил бы на тебе Аполлона! Он малый славный, с сердцем, бравый офицер и красавец, хоть бы и в гвардию!» Неожиданно Елена оторвалась от подушки, вытерла слезы и смущенно призналась: «Так ведь я уже невеста...»

Графиня была сама потрясена тем, что за все время пребывания в котошихинском доме ни разу не вспомнила о Евгении, а ведь прежде не проходило и часа, чтобы она не подумала о нем, не упомянула ласковым словом. Во время последнего свидания перед сдачей Москвы он был холоден с ней, держался как чужой, а потом хоть и снился дважды, но оба сна оставили неприятный осадок. Но, уговаривала себя Елена, все это легко объясняется теми чрезвычайными обстоятельствами, в которых они оба оказались. Глупо придавать значение пустякам, ведь они с Евгением любят друг друга и будут еще счастливы. Елена улыбнулась собственным мыслям и впервые попросила Акульку принести что-нибудь поесть. С этого дня юная графиня быстро пошла на поправку.

Котошихин был не из тех людей, что умеют хранить тайны. Сначала он красочно рассказывал соседям, как ранним утром пошел на реку удить рыбу и увидел у берега незнакомую лодку, а в лодке – «бездыханную деву невиданной красоты». Сперва старый солдат подумал, что это русалка и нечистый хочет его погубить, но тут же заметил, что подол платья речной девы оторван и вместо хвоста из-под него выглядывают две прекрасные крохотные ножки. Он позвал Акульку, и на трех руках они внесли свою находку в дом. Таким образом он избавил графинюшку от «неминучей гибели».

Узнав же историю Елены, он потчевал соседей уже новой зловещей повестью, расписывая в мрачных тонах ужасный московский пожар, «французов-пакостников» и «добра-красна молодца», вступившегося за честь невинной девушки-сиротки. Всякий раз история обростала новыми подробностями. Так вскоре молодец у Котошихина был уже в золотых эполетах

и остался в городе специально, чтобы тайно расправиться с супостатами. Елена героически пыталась спасти свою бедную матушку, но та, охваченная пламенем, перекрестила напоследок дочку и сгинула в огненной стихии. И проплывала графиня не под горящим мостом, а «под тремя огненными змиями о трех головах», без участия которых, уж верно, московский пожар не обошелся!

Вскоре весь город только и шумел, что о Елене и об ее злосчастной судьбе. Слухи о графине-сиротке, получившей приют в мещанском доме, доползли до жены городничего Екатерины Львовны Ханыковой. Это была миловидная дама лет сорока пяти, до сих пор имевшая успех у мужчин. Особенно их умилял маленький вздернутый носик в веснушках, а ее желтоватые глаза хищной кошки, то ласковые, то разъяренные, приводили поклонников в трепет. Многие боялись навлечь на себя гнев Екатерины Львовны, но в первых рядах числился ее собственный муж Леонтий Неофитович. Городничий частенько прятался от жены в комнатах прислуги или на кухне, о чем отлично знали все горожане.

Екатерина Львовна была дамой образованной, увлекалась романами Ричардсона и мадам де Сталь, любила поболтать о Вольтере, в особенности об изумительных часах, производившихся в его швейцарских мастерских и снискавших себе славу во всей Европе. Кроме того, городничиха слыла оголтелой модницей, выписывала платья и косметику из самого Парижа и нисколько не опасалась обвинений в непатриотичности. Словом, Екатерина Львовна была слишком смелой и независимой фигурой для маленького уездного городка, каким являлась Коломна, и не ударила бы лицом в грязь в любой столичной гостиной.

Ее сильно взволновала история Елены, и она сразу послала к Котошихину человека, чтобы тот привел к ней графиню, но гонец вернулся один.

– Плохо себя чувствуют-с, – передал он слова Степана Петровича. – К тому ж не в чем им показаться...

– Ну конечно, как я не догадалась! – воскликнула городничиха, обращаясь к мужу. – Откуда мещанин возьмет платье для графини?

– У него дочь – богачка, – робко возразил Леонтий Неофитович, низкорослый, но довольно подтянутый мужчина лет пятидесяти, никогда не снимавший мундира.

– Богатство и вкус не всегда совместимы, – рассудила вслух Екатерина Львовна. – Ох, уж эти мне мещанские модницы! Смех, да и только. Бедная графинюшка!

– Что вы так о ней печетесь? – недоумевал Ханыков. – Родственница она вам, что ли?

– Молчали бы, сударь мой, коль Господь обделил вас состраданием к ближнему! – вспылила Екатерина Львовна. Она велела закладывать лошадей, чтобы тотчас ехать навестить графиню, надела платье, присланное недавно из Парижа.

«Как в дворянское собрание нарядилась! Только бы подолом трепать!» – ворчал про себя Леонтий Неофитович, но высказаться вслух побоялся. Еще прибьют, чего доброго!

Котошихин был вне себя от восторга, когда карета городничихи подъехала к его дому. Любопытные соседи высыпали из своих домов и приветствовали Екатерину Львовну почтительными поклонами.

– Какая честь! Неслыханная честь для меня! – лепетал старик, подавая городничихе единственную руку, которую та, впрочем, не пожелала заметить. – Пожалуйте-с в дом, ваша милость...

– Как самочувствие графини? – на ходу интересовалась Ханыкова. – Не надо ли каких лекарств?

– Спасибо, матушка, за вашу ангельскую заботу, – расшаркивался Степан Петрович, – вот вы сами ее и спросите о здоровье, горемычницу нашу. Дохтур Август Иванович говорит, что вместо лекарств ей общение надобно-с. Новые люди важны-с, впечатления...

Елена сидела в кровати, когда в комнату вбежала Акулька, живо взбила ей подушки и устроила все наилучшим образом для приема госты. Расторопная и догадливая девка давно пришлась по душе графине.

– Взяла бы я тебя к себе в дом, – вздохнула она, – да только дома у меня теперь нет.

– Будет, барынька, дом, будет и любовь... – утешила Акулька. – Уж если вы таких несчастьев избегли, так прочее все приложится!

Екатерина Львовна, едва войдя в комнату, смерила Елену взглядом, как бы желая удостовериться, та ли она, за кого себя выдает, после чего брезгливо присела на краешек предположенного Котошихиным стула и завела разговор по-французски. Елена охотно отвечала на вопросы городничихи, и Ханыкова с удовольствием отметила безукоризненное произношение девушки.

– У вас остался кто-нибудь из родни? – спросила между прочим она.

– Родственников у меня нет... хотя... – Елена напрягла память. – Есть, кажется, дядюшка... Живет в своей деревне. Только я его почти не знаю.

– Он мог бы стать вашим опекуном.

– Кажется, матушка была с ним в ссоре, – припомнила графиня.

– Мало ли что случается промеж родственников, – мудро заметила городничиха, – общая беда всех сближает.

– Но у меня есть жених, граф Евгений Шувалов, – возразила Елена, – он мог бы стать моим опекуном на время траура.

– Хорошо, – наконец улыбнулась Екатерина Львовна и вновь принялась выпытывать: – А далеко ли отсюда до вашего ближайшего имения?

– Ближайшая деревня в тридцати верстах к северу от Москвы.

– Пожалуй, сейчас по слякоти не доехать, – рассудила городничиха, – но как установится санный путь, можно добраться.

Степан Петрович все это время не находил себе места, потому что ни слова не понимал, а ему страстно хотелось знать, о чем мадам Ханыкова допрашивает барыньку. Наконец старик не выдержал и встрял в разговор:

– Не желаете ли чаю откусать, ваша милость?

– Нет, мне пора, – ответила Екатерина Львовна, не глядя в тот угол, куда забились Котошихин с Акулькой, и добавила, обращаясь к Елене: – Желаю вам скорейшего выздоровления.

Она встала и направилась к дверям, но вдруг резко обернулась, вспомнив о главной цели своего визита:

– Ах, да, душечка, не сочтите за оскорбление! Я вижу, мы с вами одной конституции, так не примете ли в дар платья из моего гардероба?

Последняя фраза, произнесенная по-русски, настолько тронула впечатлительное сердце старика, что он принялся низко кланяться городничихе и радостно лепетать:

– Очень вам благодарны, ваша милость! А то откуда же нам платьев-то барских взять?

– А нет ли у вас в гардеробе лилового или фиолетового платья? – неожиданно спросила Елена.

– На что вам? – удивилась та.

– В Москве все невесты носят лиловый траур, – смутившись, пояснила девушка.

– Вот не знала! – еще больше удивилась коломенская модница и с улыбкой добавила: – Что ж, найдется и такое...

На другой день городничиха прислала десять своих платьев, среди них лиловое. Его и надела Елена, когда поднялась с постели, а к остальным даже не притронулась. Благородный поступок городничихи сразу сделался предметом обсуждения коломенских дам. Вскоре в дом Котошихина стали посылать подарки все уважаемые в городе лица. Большая часть подношений делалась от чистого сердца и широты души, хотя нечего скрывать ого, что некоторые дамы

просто воспользовались благовидным предлогом для того, чтобы избавиться от надоевших или просто лишних вещей, заодно заработав славу благотельницы. В считанные часы графиня была обеспечена всем необходимым. Степан Петрович радовался внезапному обогащению своей подопечной и каждый раз, когда являлся человек от какого-нибудь важного господина с подарком, лихо отплясывал турецкий танец, которому его когда-то обучила Зульфия. Елена же, напротив, сердилась: «Я ведь не нищенка, чтобы подавания принимать!» – и даже из любопытства не разворачивала пакетов. Старик качал головой: «Обидятся они на тебя... Ох, и обидятся!»

Зимой в городе возобновились балы. Все уже знали, что враг отброшен за Березину и понес ужасные потери, и оттого празднества не прекращались по целым неделям. Елена отказывалась от многочисленных приглашений, ссылаясь на траур. Еще в декабре она впервые заговорила со Степаном Петровичем о своем возвращении домой. Старик сразу приуныл – и он, и Акулька успели полюбить графиню и не желали с ней расставаться. Но главное – на какие средства он мог добыть лошадей? Ремонтеры все скупили на войну, выездов осталось раз-два и обчелся! Лошади стали на вес золота, а на извозчике до деревни не доедешь. Котошихин даже предпринял попытку попросить лошадей у дочери, хотя никогда ничего у нее не просил. Афродита Степановна смирала отца презрительным взглядом и заявила:

– Вы, я вижу, батюшка, совсем голову потеряли на старости лет! Приютили у себя какую-то самозванку да еще лошадей для нее кланчите! Хоть бы лысины своей постыдились, раз уж людей вам не совестно!

– Бог с тобой, Афродитушка! – взмолился старик. – Как можно, она графиня настоящая, природная! Сама Екатерина Львовна ей допрос учиняла по-хфранцузски и нисколько не усомнилась...

– Вот пусть твоя Екатерина Львовна и дает лошадей, а мы темные, без хфранцузского к такой птице и подступиться не посмеем! – И на ее некрасивом, изрытом оспой лице нарисовалась торжествующая улыбка, от которой Котошихину сделалось не по себе, так как в ней ясно читалось: «Старый дурень!»

Степан Петрович вернулся от дочери, не солоно хлебавши но ничего не стал рассказывать Елене о своей попытке достать лошадей. Зачем зря расстраивать девушку? Но когда принесли приглашение от городничихи на бал, кое-что сообразил и присоветовал:

– Дала бы ты согласие, Аленушка, а то ведь обидятся. Не знаю, как там у вас в Москве, а у нас дамы дюже обидчивые, из-за всякого пустяка ссорятся, прямо в прах друг друга разодрать готовы! Известно – тонкое образование, опять же, нервы...

– А как же траур, Степан Петрович? – возмутилась Елена. – Ведь еще и полгода не прошло. Какие могут быть балы?

– Так-то оно так, милая, – согласился старик, – но ты могла бы, к примеру, одолжиться у Екатерины Львовны лошадьми, а заодно и кучером, чтобы доехать до своей деревеньки. Уж та по случаю праздника непременно уважит твою просьбу! Леонтий Неофитович препятствий чинить не станет, я знаю, он во всем слушает жены, и человек не злой. Право, езжай!

Графиня, подумав немного, решила, что старик прав. Ей необходимо как можно скорее уехать в деревню, и непременно через Москву, чтобы оставить весточку о себе Шуваловым, а то еще будут считать ее погибшей. Евгений наверняка сейчас гонит француза к польской границе, а когда вернется домой, будет знать, что она ждет его в деревне. А уж папенька с маменькой на том свете простят ей этот бал...

В день бала в доме Котошихина стояла невообразимая суматоха. Оказывается, кроме платья девушке для выхода в свет требовалась еще масса вещей, о существовании которых старик с Акулькой не подозревали и которые неоткуда было взять. Тогда вспомнили о нераспечатанных пакетах с подарками и принялись за работу. Чего только не прислали сердобольные горожанки бедной сиротке! Несколько пар атласных туфель от жены предводителя уездного

дворянства, поношенная беличья шубка от жены полицмейстера, сапожки на заячьем меху от жены смотрителя богоугодных заведений и всевозможные украшения от разных досточтимых жен. Елена брезгливо, пожимая плечами, примеряла вещи и, видя, что все они поношенные, жалела о своем решении поехать на бал. Ей было стыдно показаться в чужих нарядах. Котошихин с Акулькой не понимали смущения графини, наивно восхищались и никаких изъяснений в ее туалете не замечали. К девяти часам, когда Екатерина Львовна прислала карету, Елена была уже при полном параде – с украшениями в волосах, бальных туфлях и длинных перчатках. Правда, она наотрез отказалась сменить траурное платье на светлое, более праздничное. Степан Петрович и Акулька не могли наглядеться на юную графиню, кружились вокруг нее, как докучливые дети, и расточали восторги. «На бал к императору не стыдно показаться!» – прищелкивал языком старик. «Вылитая принцесса!» – умилялась Акулька. Елена же не испытывала никакого восторга, и не в чужих нарядах было дело. Она так никому и не призналась, что это первый бал в ее жизни, да и некому было пожаловаться, как горько обмануты ее ожидания. Матушка Антонина Романовна только в следующем году планировала вывезти дочь в свет, и свой дебют Елена представляла совсем по-другому. Она видела себя на балу у Апраксиных, знаменитых своими празднествами на всю Европу, в белоснежном платье, в маменькином жемчужном ожерелье, (против всех бальных правил) ангажированной на все танцы только Евгением. Только с ним она хотела танцевать всю эту волшебную ночь!

Теперь же, трясаясь по улицам Коломны в карете городничихи, она не испытывала никакого волнения, а чувствовала лишь неловкость оттого, что вынуждена будет просить о лошадях, о таком пустяке. Ведь у Дениса Ивановича, бывало, стояло на конюшне два десятка разномастных отличных коней! Елена вдруг вспомнила отчаянное конское ржание, которое разбудило ее в ту проклятую ночь в библиотеке отца, и едва удержалась, чтобы не закричать от нахлынувшего ужаса, но, прикрыв ладонью рот, приказала себе: «Не смей!»

Она приехала уже в разгар бала. Площадь перед домом городничего была запружена каретами, за освещенными окнами мелькали тени, и даже на улице громко слышалась музыка полкового оркестра. В зале с низкими потолками было душно, сильно пахло увядающими в жардиньерках цветами, потом и мастикой, в воздухе висела тончайшая едкая пыль, поднятая подошвами танцующих. Сильно декольтированная, веселая, оживленная Екатерина Львовна стояла в окружении господ офицеров, играя веером и загадочно щуря кошачьи глаза. Как только Елена приблизилась к ней, городничиха представила девушку своим поклонникам, потом отвела ее в сторонку и, нахмурившись, заговорила по-французски.

– Милочка, как вы можете быть так одеты? – строго спросила она, и ее глаза уже не казались такими ласковыми. – Этот темный туалет здесь неуместен, будто чернильное пятно, право! Что за стремление быть оригинальной любой ценой!

– Вы забыли, что я ношу траур по моим родителям? – удивленно отвечала юная графиня. – И вовсе не собираюсь танцевать...

– Зачем же тогда приняли приглашение? Ведь это странно – явиться в таком виде на праздник! Вы как будто хотели всем испортить веселье!

Елена не знала, что ответить. Заговорить сейчас о лошадях было невозможно.

– Я боялась обидеть вас отказом, – вымолвила она, заливаясь румянцем.

В это время к ним подошел молодой офицер высокого роста с пышными усами и бакенбардами. В его голубых, широко расставленных глазах сквозило лукавство, на толстых, чувственных губах играла усмешка. Он осмотрел Елену с ног до головы, учтиво ей поклонился, после чего обратился к Екатерине Львовне:

– Тетушка, пожалуйста, представьте меня графине.

– Знакомьтесь, Элен, – сразу смягчив тон, произнесла городничиха, – мой племянник, подпоручик Мишель Ханыков. – И тут же добавила сквозь зубы, при этом кокетливо улыбаясь племяннику и распуская веер: – Будь с ним осторожна, он известный Казанова!

– Скажете тоже, тетушка! – возмутился подпоручик. – Ну какой я, к дьяволу, Казанова?! – И разразился громким, неприятным смехом.

– Мишель, не богохульствуйте! Вы не в казарме!

Городничиха прикрыла веером ненароком вырвавшийся смешок. Елена видела теперь, что и тетка, и племянник одинаково вульгарны, но если та пытается это скрыть, то он не стесняется быть пошлым.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.